

ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2016 ГОДА

Обладатель PEN/Hemingway Award 2016 года

Отесса Мошфег

Эйлин



Мошфег сплела
замечательное повествование —
игривое, шокирующее, мудрое, болезненное, остроумное, обжигающе острое...

The New York Times Book Review

Букеровская премия. Обладатели и номинанты

Отесса Мошфег

Эйлин

«ЭКСМО»

2015

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Мошфег О.

Эйлин / О. Мошфег — «Эксмо», 2015 — (Букеровская премия. Обладатели и номинанты)

Эйлин Данлоп всегда считала себя несчастной и обиженной жизнью. Ее мать умерла после тяжелой болезни; отец, отставной полицейский в небольшом городке, стал алкоголиком, а старшая сестра бросила семью. Сама Эйлин, работая в тюрьме для подростков, в свободное время присматривала за своим полубезумным отцом. Часто она мечтала о том, как бросит все, уедет в Нью-Йорк и начнет новую жизнь. Однако мечты эти так и оставались пустыми фантазиями закомплексованной девушки. Но однажды в Рождество произошло то, что заставило Эйлин надеть мамино пальто, достать все свои сбережения, прихватить отцовский револьвер, запрыгнуть в старый семейный автомобиль – и бесследно исчезнуть...

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

© Мошфег О., 2015

© Эксмо, 2015

Содержание

1964	6
Пятница	12
Суббота	27
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Отесса Мошфег Эйлин

© 2015 by Otessa Moshfegh

© Смирнова М.В., перевод на русский язык, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

1964

Я выглядела точь-в-точь как девушка, которую можно увидеть в любом городском автобусе. В руках библиотечная книга в ледериновом переплете – наверное, что-то о растениях или географии; на светло-каштановые волосы, вероятно, натянута тонкая нейлоновая сетка. Вы могли бы принять меня за студентку медицинского училища или машинистку, отметить нервные движения рук, постукивание ногой, прикушенную нижнюю губу. В моей внешности не было ничего необычного. Мне легко сейчас вообразить эту девушку: странную, молодую и тусклую версию меня самой. В руках – старомодная кожаная сумочка или маленький пакетик арахиса, который я ем по одному орешку, катая их между затянутыми в перчатку пальцами. Вот я втягиваю щеки и тревожно смотрю в окно. Утреннее солнце высвечивает тонкий пушок на лице, который я пыталась замаскировать при помощи компак-пудры – слишком розового оттенка для моей бледной кожи. Я была тощей и угловатой, движения – ломкими и нерешительными, а поза – всегда неудобной, застывшей. У меня были крупные черты лица, а широкие, бросающиеся в глаза ямки от подростковых прыщей мешали увидеть, какая радость или безумие могли скрываться за этой убийственно-холодной новоанглийской внешностью. Если б я носила очки, то могла бы сойти за интеллигентку, но я была чересчур нетерпелива, чтобы быть по-настоящему интеллигентной. Можно было бы решить, что мне нравится тишина закрытых комнат, что я ищу покоя в скучном безмолвии, что мой взгляд медленно скользит по газетам, стенам, тяжелым занавесям, но никогда по-настоящему не отрывается от того, что как-то выделяется в моих глазах, – от книги, стола, дерева, человека... Однако я не любила спокойствие. Я не любила тишину. Я ненавидела почти все. Я постоянно была ужасно несчастной и злой. Я пыталась совладать с собой, но это делало меня еще более неуклюжей, несчастливой и сердитой. Я была как Жанна д'Арк или Гамлет, но родилась в неправильной жизни – в жизни, где я была никем, ненужной, незаметной. Лучше и не скажешь: тогда я не была собой. Я была кем-то другим. Я была Эйлин.

И тогда – это было пятьдесят лет назад – я была ханжой. Просто посмотрите на меня тогдашнюю. Я носила плотные шерстяные юбки длиной ниже колена и толстые чулки. Я всегда застегивала свои пиджаки и блузки на все пуговицы. Я не была девушкой, на которую оглядываются прохожие. Однако в моей внешности не было ничего по-настоящему неправильного или уродливого. Полагаю, я была просто среднестатистической девушкой, юной и милой, но в то время считала себя худшей из худших: уродливой, отвратительной, не подходящей для этого мира. Такой, что привлекать к себе внимание казалось попросту нелепым. Я редко носила украшения, никогда не пользовалась парфюмерией, никогда не красила ногти. Иногда я надевала колечко с крошечным рубином – оно когда-то принадлежало моей матери.

Мои последние дни в образе злой маленькой Эйлин прошли в конце декабря, в суровом холодном городке, где я родилась и выросла. Зимой здесь выпадал снег – добрых три или четыре фута снежного покрова. Он захватывал территорию каждого двора, подступал к карнизам окон первого этажа, словно потоп. За день верхний слой снега подтаивал, в сточных канавах хлюпала вода, и ты вспоминал, что жизнь время от времени приносит радость, что солнце все еще светит. Но после полудня солнце скрывалось, и все опять застывало, а на снегу образовывался наст – такой толстый, что к ночи уже способен был выдержать вес взрослого человека. Каждое утро я разбрасывала соль на узкой дорожке, ведущей от переднего крыльца к улице. С козырька над парадной дверью свисали сосульки, и я стояла там, воображая, как они срываются и пронзают мою грудь, пробивают хрящи моих плечевых суставов, подобно пулям, или разносят на кусочки мои череп и мозг. Тротуар от снега расчищали соседи – семейство, к которому мой отец питал глубокое недоверие, потому что они были лютеранами, а он – католиком. Но отец не доверял никому. Он был трусливым и безумным, какими становятся почти все

старые пьяницы. На Рождество эти соседи-лютеране оставляли на нашем крыльце белую плетеную корзинку с воцеленными яблоками, завернутыми в целлофан, и бутылкой хереса. Я помню открытку с надписью: «Господь да благословит вас обоих».

Кто знал, что творилось в доме, пока я была на работе? Это было трехэтажное здание в колониальном стиле; деревянные наружные стены его побурели от времени, а красная краска отделки осыпалась хлопьями. Я представляю, как мой отец выпивает в честь Рождества подаренный херес и прикуривает от плиты старую сигару. Это забавная картина. Обычно он пил джин, иногда – пиво. Как я уже говорила, отец был пьяницей. В этом с ним было просто. Когда что-то случалось, его легко было отвлечь и утихомирить: я просто давала ему бутылку и выходила из комнаты. Конечно, в молодости его пьянство напрягало меня. Оно делало меня нервной и раздражительной. Так случается, когда живешь в одном доме с алкоголиком. В этом смысле моя история не уникальна. За столько лет я жила со множеством мужчин-алкоголиков, и все они научили меня тому, что беспокоиться бесполезно, спрашивать «почему» бессмысленно, а пытаться им помочь – самоубийственно. Они – те, кто они есть, к худу или к добру. Теперь я живу одна. Живу счастливо. Даже весело. Я слишком стара, чтобы меня заботили проблемы других людей. И я больше не трачу время на раздумья о будущем и на беспокойство о том, что пока еще не случилось. Но когда я была молода, я беспокоилась постоянно – не в последнюю очередь о своем будущем, но в основном в связи с будущим моего отца. Как долго он еще проживет, что он может сделать, что я обнаружу вечером, когда вернусь с работы...

Наш дом был не особо уютным. После смерти моей матери мы так и не разобрали и не выбросили ее вещи, ничего не переставили. Раньше в доме прибиралась только она, и теперь, когда ее не стало, наше жилище сделалось грязным и пыльным, со множеством бесполезных безделушек; все комнаты были забиты вещами, вещами, вещами... И все же оно ощущалось как абсолютно пустое; было похоже на брошенный дом, хозяева которого как-то ночью бежали неведомо куда, подобно евреям или цыганам. Мы практически не пользовались комнатой для отдыха, или столовой, или спальнями наверху. Вещи просто стояли или лежали – и собирали пыль. Журнал, брошенный на подлокотник дивана и забытый на много лет. Конфетница, полная дохлых муравьев. Этот дом вспоминается мне, словно фотографии домов в пустыне, брошенных после ядерных испытаний. Полагаю, вы и сами можете додумать подробности.

Я спала на чердаке, на раскладушке, которую мой отец лет десять назад приобрел для поездки на природу – куда, конечно же, так и не поехал. Чердак не отделали до конца; это было холодное и пыльное место, куда я ушла, когда моя мать заболела. Спать в моей детской спальне, находившейся рядом с ее комнатой, было невозможно – она всю ночь плакала, кричала и звала меня по имени. На чердаке же было тихо.

Звуки с нижних этажей дома почти не долетали сюда. У моего отца было кресло, которое он перетащил из комнаты отдыха на кухню; в нем и спал. Спинка у кресла откидывалась назад, если потянуть за рычаг, – в те дни, когда он его купил, это была забавная новинка. Но рычаг сломался и больше не работал, и механизм кресла ржавел, застыв в вечной неподвижности. Все в доме было таким же, как это кресло, – угрюмым, сломанным и замершим.

Я помню, как меня радовало, что солнце зимой садится так рано. Под покровом сумрака мне было немного уютнее. Однако мой отец боялся темноты. На словах это может показаться милой причудой, однако оно не было таковой. По ночам он зажигал плиту и духовку, пил и наблюдал за пляской голубого пламени при слабом свете потолочной лампочки. Он вечно жаловался на холод, но всегда одевался легко. Как-то вечером – с которого я начну свое повествование, – я обнаружила его сидящим босиком на ступенях и прихлебывающим херес; в пальцах у него был зажат окурок сигары.

– Бедная Эйлин, – саркастически произнес отец, когда я вошла в дверь.

Он глубоко презирал меня, считал меня жалкой и непривлекательной и без обиняков говорил об этом вслух. Если б мои тогдашние мечты сбылись, в один прекрасный день я нашла

бы его у подножия лестницы со сломанной шеей, но он бы еще дышал. «Как раз вовремя», – сказала бы я самым скучающим тоном, какой смогла бы изобразить, и бросила бы полный отвращения взгляд на его почти мертвое тело. Да, я ненавидела его, но чувство долга во мне было сильно. В доме нас было только двое – я и отец. У меня есть сестра, и насколько я знаю, она еще жива, но мы с ней не общались уже более пятидесяти лет.

– Привет, пап, – ответила я, поднимаясь мимо него по лестнице.

Он был не особо крупным мужчиной, но у него были широкие плечи и длинные ноги, и в его облике было что-то величественное. Его поредевшие седые волосы были зачесаны от лба к затылку и казались гуще, чем были. Однако выглядел он на десяток-другой лет старше своего подлинного возраста, а лицо его постоянно выражало циничный скептицизм и неодобрение. Сейчас, через столько лет, я понимаю, что он был очень похож на мальчишек-заключенных в той тюрьме, где я работала: такой же обидчивый и сердитый. Его руки все время тряслись, вне зависимости от того, сколько он пил. Он вечно потирал подбородок, красный, морщинистый и обвисший; поглаживал его так, как взрослый может потрепать по макушке мальчишку, назвав его маленьким шельмецом. Отец говорил, что жалеет лишь о том, что так и не сумел отрастить настоящую бороду, хотя очень хотел этого, однако ему не удалось. Он всегда был таким – опечаленным, надменным и нелогичным одновременно. Мне кажется, на самом деле он не любил своих детей. Обручальное кольцо, которое отец продолжал носить много лет после смерти моей матери, наверное, свидетельствовало о том, что он питал хотя бы какую-то любовь к жене. Но я подозреваю, что он не был способен на любовь – подлинную любовь. Он был жесток по натуре. Единственное оправдание ему, которое мне удалось найти, – это картина того, как родители избивали его в детстве. Это не лучший путь к прощению, но уж какой есть. По крайней мере, это сработало.

Хочу сразу пояснить – это не история о том, как жесток был мой отец. Смысл моего рассказа не в том, чтобы пожаловаться на его жестокость. Но я помню тот день, когда он обернулся, чтобы взглянуть на меня, и поморщился, словно от моего вида ему стало тошно. Я стояла на лестничной площадке, глядя вниз.

– Тебе придется снова выйти из дома, – прохрипел он, – и доехать до «Ларднера».

«Ларднером» назывался винный магазин на другом конце города. Отец выпустил из рук пустую бутылку из-под хереса, и она покатила вниз по лестнице, подпрыгивая на ступенях.

Сейчас я стала чрезвычайно благоразумной и даже спокойной, но в те дни меня было легко разозлить. Отец постоянно требовал, чтобы я исполняла его приказания, словно горничная или служанка. Однако я была не способна сказать «нет» кому бы то ни было.

– Ладно, – ответила я.

Отец что-то проворчал и затаился коротким окурком сигары. Когда меня что-то выводило из себя, я находила некоторое успокоение в заботах о своем внешнем виде. На самом деле я была одержима тем, как я выгляжу. Глаза у меня маленькие, зеленого цвета, и вы вряд ли заметили бы в них особую доброту – тем более в те дни. Я не из тех женщин, которые желают постоянно радовать окружающих. Я не мыслю такими категориями. Если б вы увидели меня тогда – с заколкой в волосах, в тускло-сером шерстяном пальто, – то могли бы счесть меня просто проходным персонажем этого повествования, честным, спокойным, скучным и незначительным. Издали я выглядела застенчивой и мягкосердечной – и временами хотела быть именно такой. Но я довольно часто вспыхивала, ругалась и потела от злости; и в тот день я захлопнула дверь санузда, пнув ее подошвой ботинка и едва не сорвав с петель. С виду я была скучной, безжизненной, невосприимчивой и равнодушной, но на самом деле я всегда была яростной, озлобленной, мои мысли неслись бурным потоком и часто принимали убийственный оборот. Было легко прятаться за этим тусклым, невыразительным лицом. Я действительно считала, что обманываю всех. И на самом деле я не читала книжек о цветах или о ведении домашнего хозяйства. Я любила книги об ужасных вещах – убийствах, болезнях, смерти.

Помню, я взяла в публичной библиотеке один из самых толстых томов – описание египетской медицины, – чтобы побольше узнать о жутких практиках бальзамировщиков, которые вытягивали мозги умерших через нос, словно разматывая клубок пряжи.

Я любила представлять свой мозг именно так – как клубок перепутанной пряжи в моем черепе. Фантазии о том, что мои мозги можно распутать, распрямить и тем самым вернуть в состояние покоя и душевного здоровья, успокаивали меня. Я часто ощущала, что в моем мозгу что-то соединено неправильно, и проблема эта так сложна, что решить ее можно только посредством лоботомии – мне нужен полностью новый разум или полностью новая жизнь. Я могла быть весьма требовательна в своей самооценке. Помимо книг, я любила читать номера журнала «Нэшнл джиогрэфик», которые выписывала по почте. Это была настоящая роскошь, и сам факт получения этих журналов вызывал у меня особое чувство. Меня пленяли статьи, описывавшие наивные верования первобытных племен, их кровавые ритуалы, человеческие жертвоприношения, все это бессмысленное страдание... Вы могли бы назвать меня мрачной и безумной. Но не думаю, что я была столь уж жестока от природы. Если б я родилась в другой семье, то смогла бы вырасти совершенно нормальной, действовать и чувствовать себя так же, как обычные люди.

Правду сказать, я жаждала наказания. Я была совершенно не против того, что мой отец помыкал мною. Я злилась и ненавидела его, верно, но ярость придавала моей жизни некое подобие смысла, а беготня по его поручениям помогала убить время. Именно так я и представляла себе жизнь – сплошное отбывание приговора, отсчитываемого тиканьем часов.

В тот вечер, выйдя из туалета, я постаралась выглядеть как можно более жалкой и уставшей. Отец нетерпеливо зарычал. Я вздохнула и взяла протянутые им деньги. Потом застегнула пальто. Мне было легче от того, что есть куда пойти, что мне не нужно коротать вечерние часы, расхаживая по чердаку или наблюдая, как мой отец пьет. Больше всего на свете я любила куда-либо выходить из дома.

Если б, оказавшись на крыльце, я захлопнула дверь с такой силой, как мне хотелось, одна из сосулек над головой могла бы неожиданно сорваться. Я представила, как она пролетает сквозь ямку над моей ключицей и вонзается прямо в сердце. Или, если я запрокину голову назад, сосулька, возможно, проткнет мне горло и пройдет прямо через пустой центр моего тела – я любила воображать подобные вещи, – потом пронзит мои внутренности и, наконец, рассекает нижнюю часть туловища пополам, точно стеклянный кинжал. Именно так я в те времена представляла свою анатомию: мозг, подобный спутанному клубку, тело, похожее на пустой сосуд, интимные органы – точно некая чуждая и чужая страна. Но я, конечно же, аккуратно закрыла за собой дверь. На самом деле я не хотела умирать.

Я ездила на старом «Додже» своего отца – с тех пор, как он сам больше не мог водить его. Я любила этот автомобиль. Это был четырехдверный «Коронет», матово-зеленый, весь побитый и исцарапанный. За много лет дно кузова проржавело от льда и соли. В бардачке «Доджа» я хранила мертвую мышь-полевку, которую как-то раз нашла на крыльце – замерзшую, свернувшуюся комочком. Сначала я взяла ее за хвост и подбросила в воздух, потом подхватила и сунула в бардачок вместе со сломанным фонариком, картой автострад Новой Англии и несколькими позеленевшими пятицентовиками. В ту зиму я то и дело посматривала на эту мышь, проверяя признаки разложения, незаметные на таком холоде. Кажется, это каким-то образом позволяло мне чувствовать себя сильнее. Маленький тотем. Талисман на удачу.

Оказавшись снаружи, я проверила температуру воздуха, высунув кончик языка и держа его на ледяном ветру, пока он не начал болеть. Полагаю, в тот вечер температура упала ниже минус десяти по Цельсию. Даже дышать было больно. Но я предпочитала холодную погоду жаркой. Летом я была беспокойной и раздражительной. Я часто дышала и стремилась поваляться в холодной ванне. Я сидела за своим рабочим столом в тюрьме, неистово обмахиваясь бумажным веером. Я не любила потеть на виду у людей. Подобное свидетельство своей

плотскости я находила непристойным, отвратительным. Точно так же я не любила танцевать или заниматься спортом. Я не слушала «Битлз» и не смотрела по телевизору «Шоу Эда Салливана»¹. Меня в те поры не интересовали ни развлечения, ни известность. Куда больше мне нравилось читать о древних временах и дальних странах. Понимание того, что сейчас вокруг происходит что-то занятное, заставляло меня ощущать себя жертвой изоляции. А если избегала этого намеренно, я могла считать, что у меня все под контролем.

У «Доджа» было еще одно свойство – во время поездок на нем меня всегда тошнило. Я знала, что с выхлопной системой что-то не в порядке, но в то время я и подумать не могла о том, чтобы как-то справиться с этой проблемой. Отчасти мне даже нравилось кататься с постоянно опущенными стеклами, несмотря на мороз. Я ощущала себя очень храброй. Но на самом деле я боялась, что, если подниму шум из-за неполадок в машине, ее у меня отберут. Эта машина была единственной вещью в моей жизни, которая давала мне хоть какую-то надежду. Это было мое единственное средство побега. До того как уйти на пенсию, мой отец постоянно разъезжал на этом «Додже». Он беспечно раскатывал на нем по городу, парковал на тротуарах, цеплял им углы, бросал с включенным мотором, так что посреди дороги ночью у него заканчивался бензин, царапал машину о грузовик молочника, о стену здания и так далее. В те времена все иногда водили автомобили в пьяном виде, но это его не извиняет. Сама я была законопослушным водителем. Я никогда не превышала скорость и никогда не проскакивала на красный свет. В темное время суток я предпочитала ехать медленно, едва прижимая педаль газа, и смотреть, как город проплывает передо мной, словно в кино. Мне всегда представлялось, что у других людей дома куда уютнее, чем мой собственный, там стоит мебель из полированного дерева, а перед красивыми каминами подвешены чулки для рождественских подарков. В чулках хранятся жестянки с печеньем, а в гаражах – газонокосилки. В те дни было легко считать, что все живут лучше меня. Одно ярко освещенное крыльцо чуть дальше по улице заставляло меня чувствовать себя особенно несчастной. Перед ним стояла белая скамья, у двери виднелся скребок для очищения обуви от снега, похожий на перевернутое лезвие конька, а над входом висела гирлянда из остролиста. Вы назвали бы этот городок очень милым и привлекательным. Но если вы не выросли в Новой Англии, вы не знаете, какая странная тишина охватывает занесенные снегом прибрежные городки по ночам. В других местах нет ничего подобного. Закатный свет ведет себя очень необычно. Он как будто не угасает, а уползает в океан. Кто-то просто утаскивает свет прочь.

Я никогда не забуду веселый звон колокольчика над входной дверью винного магазина «Ларднер». Мне нравился этот магазин. Там было тепло и упорядоченно, и я бродила по отделам так долго, как только могла, притворяясь, будто выбираю товар. Я, конечно же, знала, где стоят бутылки с джином: в центральном отделе справа, если встать лицом к кассе, в нескольких футах от дальней стены, на двух полках. На верхней – «Бифитер», на нижней – «Сигрэмз». Мистер Льюис, работавший в магазине продавцом, был таким вежливым и веселым, как будто даже не подозревал, для чего люди покупают спиртное. В тот вечер я взяла джин, расплатилась и вернулась к машине, уложив бутылки на пассажирское сиденье. Как странно, что крепкое спиртное не замерзает. Это было единственное, что попросту не поддавалось морозу. Дрожа от холода, я скользнула на водительское сиденье «Доджа», повернула ключ в замке зажигания и медленно поехала домой. Помню, я выбрала долгий и живописный маршрут, потому что уже наступила темнота.

Когда я снова вошла в дом, отец сидел в своем кресле на кухне. В тот вечер не случилось ничего особенного. Это просто подходящее время для начала рассказа. Я поставила бутылки на пол так, чтобы он мог дотянуться до них, и смяла в кулаке бумажный пакет, а потом бросила его

¹ «Шоу Эда Салливана» – популярнейшее американское телешоу, транслировавшееся с 1948 по 1971 г.; ведущий – журналист Эд Салливан. В нем, в частности, принимали участие все виднейшие представители рок- и поп-музыки той эпохи.

в кучу мусора возле двери черного хода. Я поднялась на чердак. Я прочитала журнал. Я легла спать.

Итак, продолжаем. Меня звали Эйлин Данлоп. Теперь вы знаете мое имя. Мне было двадцать четыре года, и мне платили пятьдесят семь долларов в неделю за секретарскую работу в частном исправительном заведении для подростков мужского пола. Теперь я считаю это заведение тем, чем оно было по своей сути и назначению, – тюрьмой для детей. Я буду называть ее «Мурхед». Девлином Мурхедом звали кошмарного домовладельца, у которого я снимала жилье несколько лет спустя, и мне кажется уместным использовать его фамилию как названия этого заведения.

Через неделю я сбегу из дома и больше никогда не вернусь. Эта история о том, как я исчезла.

Пятница

Пятница ознаменовалась омерзительным запахом рыбы, поднимающимся из подвальной столовой, плывущим через холодные комнаты, где спали мальчишки, по застеленным линолеумом коридорам и в лишенный окон кабинет, где я проводила рабочий день. Запах был столь противным и навязчивым, что я учуяла его даже снаружи, на стоянке, когда приехала в «Мурхед» тем утром. У меня было обыкновение запереть сумочку в багажнике своей машины, прежде чем идти работать. В раздевалке за кабинетом были шкафчики, но я не доверяла местному персоналу. Когда я устроилась туда работать в возрасте двадцати одного года, наивная вне всяких пределов, отец предупредил меня, что самые опасные люди в тюрьме – это не преступники, а те самые люди, которые там трудятся. Могу подтвердить: это чистая правда. Вероятно, это самые мудрые слова, которые я когда-либо слышала от отца.

Я взяла с собой обед, состоящий из двух ломтиков хлеба с маслом, упакованных в фольгу, и банки консервированного лосося. В конце концов, была пятница, постный день, а мне не хотелось попадать в ад. Я прилагала все усилия к тому, чтобы улыбнуться и кивнуть своим сослуживицам, двум женщинам средних лет с жесткими налакированными прическами; в отсутствие начальства эти дамы практически не поднимали головы от любовных романчиков в мягких переплетах. Их рабочие столы были усыпаны желтыми целлофановыми фантиками от карамелек, которые стояли в вазочках из поддельного хрусталя на уголках столешниц. Хотя эти женщины и были ужасны, однако они стоят далеко не в первых строках отвратительных личностей, встретившихся мне в жизни. Работать вместе с ними в тюремном офисе было не так уж плохо. Я занималась бумажной работой, и это означало, что мне редко приходилось общаться с кем-либо из четырех или пяти кошмарных и уродливых тюремных надзирателей, чьей задачей было исправлять порочные души юных обитателей «Мурхеда». Эти надзиратели были похожи на армейских сержантов; на прогулке они колотили мальчиков по ягодицам резиновыми дубинками, а если те пытались сопротивляться, применяли к ним удушающие захваты. Когда доходило до подобных жестокостей, я старалась смотреть в другую сторону. Чаще всего я смотрела на часы.

Ночные охранники сдавали смену в восемь часов утра, когда я только приезжала на работу, и я не была с ними знакома, хотя мне запомнились их усталые лица – один прихрамывал и выглядел полным идиотом, а другой был лысеющим ветераном с желтыми пятнами от табака на пальцах. Они не играют никакой роли в моем повествовании. Но один из охранников дневной смены выглядел просто чудесно. У него были большие, словно у гончей собаки, глаза, жесткий профиль, который отчасти смягчала молодость и, как мне казалось, некая затаенная волшебная грусть. Длинные волосы с боков головы были зачесаны назад блестящими высокими валиками, разделенными на затылке пробором. Звали его Рэнди. Я любила наблюдать за ним из-за своего стола. Он сидел в коридоре, который соединял офис с остальной частью заведения. Носил Рэнди стандартную накрахмаленную серую форму, начищенные ботинки с высокими голенищами, а к поясу его была прицеплена тяжелая связка ключей. Он любил сидеть на табуретке боком, покачивая одной ногой в воздухе, и в этой позе его пах был виден мне как на ладони. Я была не из тех девушек, которые нравились ему – я это знала, – что причиняло мне боль, хотя я ни за что не призналась бы в этом. Он предпочитал красивых, длинноногих и пухлогубых девушек – блондинок, как я подозревала. И все же ничто не мешало мне мечтать. Я проводила часы, наблюдая, как напрягается его бицепс, когда он переворачивает очередную страницу комикса. Когда я представляю его сейчас, мне видится, как он перекачивает зубочистку во рту. Это было прекрасно. Это было поэтично. Однажды я задала ему вопрос, нервный и нелепый: не холодно ли ему зимой в форме с короткими рукавами. Рэнди пожал плечами. «В тихом омуте черти водятся», – подумала я, едва ли не тая от восторга. В моих

фантазиях не было ни малейшего смысла, но я все равно воображала, как однажды он кинет камешком в окно моего чердака, сидя на рычащем мотоцикле перед моим домом, и мы рванем ко всем чертям из этого городка. Я не могла отделаться от подобной игры воображения.

Хотя я не пила кофе – от него у меня кружилась голова, – но я направилась к кофеварке, стоящей на углу коридора, потому что на стене над нею висело зеркало. Созерцание своего отражения успокаивало меня, хотя я страстно ненавидела свое лицо. Такова жизнь человека, одержимого самим собой. Я томила от горя из-за того, что некрасива, и отдавала этому куда больше времени, чем готова признать даже сейчас. Я протерла глаз от кусочков засохшей слизи, оставшихся после сна, и налила себе чашку сливок, приправив их сахаром и сухим солодовым молоком, хранившимся в ящике моего стола. Никто не сказал ни слова по поводу этого странного коктейля. Мои сотрудницы были вечно угрюмыми, скучными и замкнутыми. В то время я подозревала, что они состоят между собой в тайной любовной связи. Тогда подобные извращения все чаще и чаще были на слуху; жители городка даже опасались нарваться на «латентных гомосексуалистов», находящихся в поисках пары. Мои подозрения относительно офисных дам вовсе не были такими уж унижительными. Это помогало мне ощутить хоть немного сострадания, когда я представляла, как по вечерам они отправляются по домам к своим опостылевшим мужьям, такие одинокие и печальные. С другой стороны, при мысли о том, как они расстегивают блузки, запускают руки друг другу в лифчики и раздвигают ноги, мне хотелось блевать.

В книге, которую я нашла в публичной библиотеке, был небольшой раздел с иллюстрациями – посмертные маски таких известных личностей, как Линкольн, Бетховен и сэр Исаак Ньютон. Если вы когда-либо видели настоящее мертвое тело, вы знаете, что люди не умирают с такой благодушной улыбкой, с такой безмятежностью на лице. Но я взяла их гипсовые маски за образец и усердно упражнялась перед зеркалом, учась расслаблять лицевые мышцы, поддерживая выражение доброжелательного спокойствия, которое я видела на лицах этих мертвых людей. Я упоминаю об этом потому, что именно такое лицо я и носила на работе – свою «посмертную маску». В те времена я была молода и чрезвычайно чувствительна, однако полна решимости никому не показывать это. Я отгораживала себя от реальности этого места – «Мурхеда». Мне приходилось это делать. Меня окружали страдание и позор, но я ни разу не убегала в туалет, чтобы поплакать.

Позже в то утро, отправившись передать почту в кабинет начальника, располагавшийся в здании, где мальчики учились и занимались оздоровительной деятельностью, я прошла мимо надзирателя – Мальвани, Мальруни или Махони, не помню его фамилии, они все для меня были на одно лицо, – который крутил ухо мальчику, стоявшему перед ним на коленях.

– Думаешь, ты особенный? – вопрошал надзиратель. – Видишь эту грязь на полу? Ты тут значишь меньше, чем кусок грязи между плитками. – Он заставил мальчика склонить голову, ткнув его лицом в свои огромные ботинки с окованными железом носами, достаточно жесткими, чтобы запинать кого-нибудь до смерти, и приказал: – Вылизывай.

Я видела, как мальчик открыл рот, затем отвела взгляд.

Секретаршей у начальника была женщина с таким холодным взглядом и настолько полная, что казалось, будто она вообще не дышит, а ее сердце не бьется. Ее «посмертная маска» была впечатляющей. Единственные признаки жизни, которые она подавала, – это жест, которым она подносила палец к губам и слюнявила его кончик бледно-сиреневым языком, высывая его изо рта примерно на сантиметр. Двигаясь словно робот, она перебрала стопку конвертов, которые я ей отдала, затем отвернулась. Я выждала еще минуту или две, притворяясь, будто отсчитываю дни на календаре, висящем на стене над ее столом.

– Пять дней до Рождества, – произнесла я, пытаюсь, чтобы это прозвучало радостно.

– Хвала Господу, – отозвалась она.

Я часто думаю о «Мурхеде» и его смехотворном кредо – «*parens patriae*»², – и поеживаюсь. Мальчики, содержащиеся здесь, были очень юными, почти детьми. Они неизменно пугали меня, потому что я чувствовала, что не нравлюсь им, кажусь им неприглядной. Поэтому я старалась держаться от них подальше, словно от сумасшедших или от диких зверей. Некоторые из тех, что постарше, были высокими и красивыми. И они тоже не оставляли меня равнодушной.

Я вернулась за свой стол. Конечно, я могла бы поразмыслить о многом. Шел 1964 год, будущее казалось широкой и многообещающей дорогой. Со всех сторон что-нибудь разрушали или строили, но я в основном размышляла о себе и своих страданиях, одновременно перебирая ручки в стаканчике или вычеркивая день на календаре. Секундная стрелка на часах вздрагивала и рвалась вперед, словно человек, который сначала ощущает невыразимый страх, а потом, ведомый отчаянием, прыгает с обрыва – лишь для того, чтобы зависнуть в воздухе. Мои мысли блуждали, не останавливаясь почти ни на чем, хотя чаще всего их притягивал к себе Рэнди. Когда в эту пятницу мне пришел зарплатный чек, я сложила его и сунула в лифчик, который, честно говоря, не мог похвастаться своим содержимым – всего лишь маленькие твердые холмики, которые я скрывала под слоями одежды: хлопчатобумажный бюстгалтер, блузка, шерстяная кофта. Я все еще испытывала подростковый страх того, что люди, глядя на меня, видят прямо сквозь мою одежду. Подозреваю, что никто не лелеял фантазии о моем обнаженном теле, но я боялась, что если чей-нибудь взгляд упадет вниз, то обязательно исследует тайные участки моего тела и каким-то образом расшифрует запутанные и бессмысленные складки и полости, так плотно стиснутые между моими ногами. Я всегда старалась скрыть свои складки и полости. И конечно же, я все еще была девственницей.

Полагаю, мое ханжество сделало свое дело и сберегло меня от трудной жизни, подобной той, которая была уготована моей сестре. Она была старше меня и отнюдь не девственница, и жила с мужчиной, который не был ей мужем, в поселении за несколько городков от нашего. Наша мать называла ее «шлюхой». Как мне видится, Джоани была очень милой, но под ее девичьей жизнерадостностью скрывался грешный, сластолюбивый характер. Однажды она сказала мне, что Клифф, ее парень, любит «пробовать» ее по утрам, когда она просыпается. И засмеялась, когда мое лицо сморщилось от недоумения, а потом застыло и покраснело – когда я поняла, что она имела в виду. «Разве это не забавно? Разве это не лучше всего на свете?» – хихикала сестра. Я, конечно же, ужасно ей завидовала, но никогда не показывала этого. На самом деле мне вовсе не хотелось того, чем она хвасталась. Мужчины, парни, перспектива сойтись с кем-нибудь из них – все это казалось мне нелепым. Самое большее, чего я желала, – молчаливый роман. Но даже это пугало меня. Мне нравился Рэнди и некоторые другие мужчины, но они даже не смотрели на меня как на женщину. О, эти мои интимные недра, закутанные, словно младенец в пеленки, в толстые хлопчатобумажные трусы и в старый пояс-бандаж, принадлежавший некогда моей матери... Я красила губы не для того, чтобы выглядеть модно, а потому, что без помады они были того же цвета, что и мои соски. В двадцать четыре года я старалась сделать так, чтобы никто и не подумал вообразить меня без одежды. В то время как большинство молодых женщин, похоже, стремилось как раз к противоположной цели.

В тот день в тюрьме была вечеринка. Доктор Фрай уходил на пенсию. За десятилетия работы тюремным психиатром он скормил мальчишкам-заключенным невероятное количество успокоительных средств. Ему, должно быть, было уже за восемьдесят. Сейчас я сама стара, но в молодости мне было абсолютно плевать на стариков. Мне казалось, что само их существование мешает мне. И уход доктора Фрая на пенсию меня ничуть не волновал. Когда мне на стол положили открытку, я подписала ее своим четким почерком прилежной школьницы,

² Юридический термин: в буквальном переводе с латинского – «отец нации»; право государства выступать в качестве истца от имени граждан.

выведа саркастическое «Всего доброго». Я помню, что на лицевой стороне открытки был черной тушью нарисован ковбой, удаляющийся в закат. Боже ты мой. За годы работы в «Мурхеде» доктор Фрай время от времени приходил понаблюдать за визитами родных. Контроль над этими визитами был моей повседневной обязанностью, и я смотрела, как он стоит в открытых дверях комнаты свиданий, кивая, причмокивая деснами и хмыкая. Время от времени он вмешивался, жестом длинных дрожащих пальцев указывая мальчику, чтобы тот сел прямо, ответил на вопрос, извинился и так далее. Но доктор ни разу не сказал «здравствуйте» или «как дела, мисс Данлоп?» Я была невидимкой. Я была мебелью. После обеда – кажется, я оставила банку тунца на столе, так и не съев ни ломтика рыбы, – весь персонал созвали в столовую, на кофе с тортом, дабы сказать доктору Фраю «адью». Но я отказалась в этом участвовать. Я сидела за своим столом и не делала ничего, просто смотрела на часы. В какой-то момент я ощутила зуд под трусами и, поскольку меня никто не видел, сунула руку под подол юбки. Но мои интимные места были так плотно запеленуты, что почесать их оказалось затруднительно. Поэтому мне пришлось просунуть руку под пояс юбки, под бандаж, под трусики, а потом, почесавшись, я вытащила пальцы и понюхала их. Полагаю, это естественное любопытство – нюхать свои пальцы. Позднее, когда рабочий день подошел к концу, я протянула эту же ладонь – которую так и не помыла – доктору Фраю, пожелав ему хорошего отдыха на пенсии.

* * *

Не могу сказать, что, работая в «Мурхеде», я была защищена. Но я была изолирована. Городок, где я жила и выросла – я буду называть его Иксвилл, – сам по себе не очень-то способствовал «неправильному» образу жизни. Однако в нем были и не вполне приглядные кварталы, где жили неквалифицированные рабочие и люди, попавшие в трудные жизненные обстоятельства. Располагались такие кварталы ближе к океану, и я несколько раз проезжала мимо обветшалых домиков, дворы которых были завалены мусором и детскими игрушками. Когда я видела на улицах этих людей, таких несчастных, сердитых и замкнутых, это меня одно временно очаровывало, пугало и заставляло чувствовать стыд из-за того, что я не настолько бедна. Но улицы в том районе, где я жила, были обсажены деревьями и чисто подметены, дома любовно подновлялись, ими можно было гордиться и любоваться, и я ощущала себя пристыженной из-за того, что посреди этого порядка я настолько неопрятна, сломлена и равнодушна. Я не знала, есть ли еще в мире другие люди, которые, подобно мне, «не вписываются в обстановку», как это обычно говорится. Более того – типично для любого неглупого молодого человека, живущего настолько изолированно, – я считала, что только я сама обладаю сознанием, пониманием того, как странно быть живой, жить на этой странной планете под названием Земля. Я видела серии «Сумеречной зоны», которые отображают то тщательно скрываемое от всех беспокойство, которое я ощущала в Иксвилле. Это было ужасно одиноко.

Бостон с его кирпичными зданиями, увитыми плющом, дал мне надежду на то, что там есть другая жизнь, что молодые люди могут жить там так, как им хочется. Свобода была не так уж далеко. Я ездила туда только один раз, сопровождая свою умирающую мать к врачу, который не смог вылечить ее, но выписал лекарства, которые, как он выразился, должны были принести ей облегчение. Эта поездка в те времена казалась мне невероятно шикарной. Да, конечно, мне исполнилось двадцать четыре года. Я была взрослой. Вы скажете, что я могла бы поехать куда угодно. И правда, в последнее свое лето в Иксвилле, во время одного из долгих запоев отца, я отправилась в поездку по побережью. У меня кончился бензин, и я застряла на проселочной дороге в часе езды от дома. Потом какая-то пожилая женщина остановилась, дала мне доллар и подбросила до заправочной станции, сказав на прощание, что «нужно впредь планировать все заранее». Я помню, как подрагивал ее двойной подбородок, когда она вела машину. Она была мудрой деревенской женщиной, и я испытывала к ней уважение. Именно тогда я начала

фантазировать о побеге, мало-помалу убеждая себя, что решение моей проблемы – той проблемы, что я родилась и живу в Иксвилле, – найдется в Нью-Йорке.

Это было штампом в те времена и остается штампом сейчас, но когда я слушала по радио мюзикл «Привет, Долли!», мне казалось вполне возможным заявиться на Манхэттен с деньгами, которых хватит на съем комнаты в пансионате, после чего передо мной само по себе, без особых усилий и размышлений с моей стороны, развернется будущее. Это была всего лишь мечта, но я изо всех сил подпитывала ее. Я начала откладывать деньги в ящичек, спрятанный на чердаке. Мне вменялось в обязанность вносить в «Банк Иксвилла» пенсионные чеки отца, которые полицейское управление города присылало в начале каждого месяца. Банковские служащие называли меня «миссис Данлоп», похоже, путая с моей матерью, и я думала, что смогу без проблем опустошить накопительный счет нашей семьи и получить на руки конверт со сто-долларовыми купюрами, если солгу и скажу, что мне нужно купить новый автомобиль.

Я никогда и ни с кем не обсуждала свое желание покинуть Иксвилл. Но несколько раз, в самые темные для моей души часы – когда мне было ужасно плохо, когда меня охватывало желание направить машину на ограждение моста, или в одно особенно тоскливое утро, когда я едва подавила порыв сломать себе руку, прихлопнув ее дверцей машины... В такие часы я воображала, какое облегчение могла бы испытать, если б только раз могла прилечь на кушетку в кабинете доктора Фрая и, подобно какому-нибудь павшему герою, сознаться в том, что моя жизнь просто нестерпима. Но на самом деле она была вполне терпимой. В конце концов, я же вытерпела ее. В любом случае та молодая Эйлин никогда не приняла бы лежащее положение в присутствии мужчины, который не был ей отцом. В этом положении ее маленькие груди неизбежно выпирали бы вверх. Хотя тогда я была тощей и костлявой, я считала себя толстой, а свою плоть – непомерно громоздкой. Я ощущала, как мои бедра и груди чувственно покачиваются туда-сюда, когда шла по коридору. Я считала, что всё во мне невероятно огромно и отвратительно. Это заблуждение принесло мне немало горя и стыда. Теперь я посмеиваюсь над ним, но в те времена я несла тяжкий груз печали и отвращения к себе.

Конечно же, никто в тюремном офисе не проявлял ни малейшего интереса ко мне, к моим горестям или к моим грудям. Когда моя мать умерла, а я устроилась работать в «Мурхед», миссис Стивенс и миссис Мюррей старательно поддерживали дистанцию со мной. Никаких соболезнований, даже ни единого сочувственного взгляда. Они были самыми далекими от материнского образа женщинами, каких я когда-либо встречала, и потому отлично подходили для тех должностей, которые занимали в тюрьме. Они не были жестокими или строгими, как вы могли бы подумать. Они были просто ленивыми, некультурными и абсолютно неряшливыми. Полагаю, им было так же скучно, как мне, но они развлекали себя сладостями и дешевыми книжками в бумажных обложках, и без малейшего стеснения облизывали пальцы после пончиков с джемом, отрывались, вздыхали или кряхтели. Я до сих пор помню мысленно нарисованную мною картинку: эти две женщины в сексуальной позе, уткнув лица в интимные места друг друга, вдыхают запах и вытягивают языки в пятнах от карамелек. Эта картинка приносила мне некоторое удовлетворение. Быть может, она позволяла мне чувствовать себя более достойной по сравнению с ними. Отвечая на телефонные звонки, они зажимали переносицу двумя пальцами, словно прищепкой, и говорили высоким гнусавым голосом. Быть может, они делали это ради развлечения, а может быть, это просто ложное воспоминание. В любом случае их манеры было трудно назвать хорошими.

– Эйлин, дай мне дело того новичка – ну, того сопляка, как там его зовут? – сказала мисс Мюррей.

– Того, с чесоткой? – уточнила миссис Стивенс, причмокнув карамелькой, которую как раз сосала. – Браун, Тодд. Честное слово, с каждым годом к нам присылают все более уродливых и тупых.

– Следи за словами, Норрис. Эйлин, скорее всего, когда-нибудь выйдет замуж за одного из них.

– Это правда, Эйлин?.. Часики-то у тебя тикают, да?

Миссис Стивенс постоянно хвасталась своей дочерью, высокой тонкогубой девицей, вместе с которой я когда-то училась в школе. Она вышла замуж за какого-то бейсбольного тренера из колледжа и переехала в Балтимор.

– Когда-нибудь ты станешь такой же старой, как мы, – хмыкнула миссис Стивенс.

– У тебя свитер надет задом наперед, Эйлин, – заметила миссис Мюррей. Я оттянула ворот, чтобы проверить. – А может быть, нет. Просто ты такая плоская, что я и разобрать не могу, какая сторона передо мной – задняя или передняя.

Они все время отпускали такие реплики. Это было ужасно.

Полагаю, у меня манеры были такими же плохими, как у них. Я была невероятно угрюмой и замкнутой, недружелюбной. А иногда напряженной и нервной или же раздражающе неуклюжей.

– Ха-ха, – отозвалась я. – И никто не разберет, где тут зад, а где перёд, да?

Я никогда не умела ладить с людьми, и еще в меньшей степени умела постоять за себя. Я предпочитала сидеть и молча злиться. Я была тихим ребенком, и в детстве сосала палец достаточно долго, чтобы испортить прикус. Мне повезло, что мои зубы не выехали слишком далеко вперед. И все-таки мне казалось, что у меня уродливые лошадиные резцы, и потому я почти не улыбалась. А при улыбке старалась, чтобы моя верхняя губа не задралась, и это требовало огромной сдержанности, самодисциплины и самоконтроля. Вы не поверите, сколько времени я потратила на то, чтобы укротить свою верхнюю губу. У меня действительно было ощущение, будто моя ротовая полость – это тоже интимное место, складки и впадины мягкой плоти, и позволить кому-либо заглянуть туда так же постыдно, как раздвинуть ноги. В те времена люди не жевали жвачку так часто, как теперь. Это считалось детским занятием. Поэтому я держала в своем шкафчике пузырек «Листерина» и часто полоскала рот, иногда даже глотала бальзам, если не могла дойти до раковины в женском туалете, не заговорив ни с кем по пути. Я не хотела, чтобы кто-нибудь подумал, будто у меня пахнет изо рта или что внутри моего тела вообще происходят какие-либо органические процессы. Необходимость дышать сама по себе была постыдной. Вот какой девушкой я была.

Помимо «Листерина», в моем шкафчике всегда лежала бутылка сладкого вермута и пакет шоколадных конфет с мятой. Эти конфеты я регулярно крада в исквиллской аптеке. Я была искусной магазинной воровкой, одаренной тонким умением прихватывать всякие мелочи и прятать их в рукавах. Моя «посмертная маска» много раз уберегала меня от неприятностей, скрывая мой восторг и ужас от глаз продавцов и кассиров, которые, вероятно, думали, что я очень странно выгляжу в своем объемистом пальто, бродя вокруг полок со сладостями. Перед тем как в тюрьме начинались посетительские часы, я делала большой глоток вермута и закусывала парой мятно-шоколадных конфет. Даже спустя несколько лет работы здесь необходимость встречать страдающих матерей, которые приходили навестить своих сыновей-узников, заставляла меня нервничать. Наряду с прочими смертельно скучными обязанностями часть моей работы заключалась в том, чтобы просить посетительниц записать свои имена в толстой бухгалтерской книге; после этого я говорила, что им нужно сидеть в казенных пластиковых креслах оранжевого цвета в вестибюле и ждать вызова. В «Мурхеде» существовало глупое правило – одновременно может происходить только один визит. Быть может, оно было принято из-за ограниченного количества персонала или нехватки помещений в «Мурхеде». Так или иначе это создавало атмосферу непрерывного страдания, когда в течение нескольких часов матери сидели, ждали, всхлипывали, постукивали ногами по полу, вытирали носы и жаловались. В попытке отгородиться от собственных тяжелых чувств я составляла бессмысленные опросы и раздавала самым беспокойным из матерей бланки, размноженные на mimeографе и

прицепленные к картонкам с зажимом. Я думала, что заполнение опросов даст этим женщинам некое ощущение смысла, создаст иллюзию, будто их жизнь и мнение достойны уважения и интереса. Я придумывала самые разные вопросы: «Как часто вам приходится заправлять свою машину?», «Какой вы видите себя через десять лет?», «Вам нравится смотреть телевизор? Если да, то какие программы?». Матери обычно бывали довольны, получив хоть какое-то занятие, хотя притворялись, что их отвлекают от важных дел. Если они спрашивали, ради чего нужны эти бланки, я отвечала, что это «правительственный опрос» и что они могут не писать свои имена, если предпочитают сохранять анонимность. Однако никто из них не воспользовался этим правом. Все они заносили свои имена в соответствующие строки анкеты – куда аккуратнее, чем в книгу посещений, – и отвечали так бесхитростно, что это причиняло мне боль: «Раз в неделю, по пятницам», «Я буду здоровой, счастливой, а мои дети добьются успеха», «Выступления Джерри Ли Льюиса³».

Моей задачей было вести картотеку с отдельными ящичками, полными рапортов, показаний и других документов на каждого заключенного. Заключенные оставались в «Мурхеде» до истечения срока приговора или до тех пор, пока им не исполнялось восемнадцать. Самому младшему из тех, кто при мне попал в тюрьму, было девять с половиной лет. Начальник любил угрожать более крупным парням – высоким, толстым или то и другое разом, – что их переведут во взрослую тюрьму раньше срока, особенно тех, кто причиняет неприятности. «Ты думаешь, что здесь плохо живется, молодой человек? – спрашивал он. – Через денек в тюрьме штата любой из вас будет неделю плевать кровью».

Мальчики, сидевшие в «Мурхеде», казались мне не такими уж плохими людьми, учитывая обстановку. Любой из нас на их месте был бы ленивым и злым. Им было запрещено делать большинство вещей, которые делают дети: танцевать, петь, жестикулировать, громко разговаривать, слушать музыку, даже лежать без особого разрешения. Я никогда не говорила ни с кем из них, но я знала о них все. Я любила читать их личные дела и описания их преступлений, полицейские отчеты и собственные признания мальчиков. Помнится, один из них пырнул водителя такси в ухо перьевой ручкой. Очень немногие из них были собственно из Иксвилла. Они прибывали в «Мурхед» со всего нашего региона: отборные массачусетские юные воры, хулиганы, насильники, похитители, поджигатели и убийцы. Многие из них были сиротами или беглецами из дома; они были грубыми и упрямыми, ходили важно, враскачку. Другие происходили из обычных семей, и их поведение было более домашним, восприимчивым, а походка – крадущейся, опасливой. Грубияны нравились мне больше, они казались мне привлекательными. И их преступления выглядели куда более нормальными. А вот балованные мальчики совершали извращенные, по-настоящему жестокие преступления: душили своих маленьких сестер, поджигали соседских собак, подсыпали яд священникам. Это меня удивляло. Однако через несколько лет работы и это мне наскучило.

Послеобеденное время той пятницы запомнилось мне потому, что одна девушка пришла навестить того, кто совершил преступление против нее, – насильника, я полагаю. Она была красива, имелась в ней какая-то горькая яркость, а в то время я считала, что все привлекательные женщины развязны, сексуальны, легкомысленны и вульгарны. Подобные визиты, конечно же, были строго запрещены. Только близким родственниками позволялось посещать заключенных. «Семья» – вот термин, который мы использовали. Я сказала об этом девушке, но она все равно настаивала на том, чтобы увидеть парня. Сначала она была очень спокойна, как будто заучила наизусть свои речи. Поверить не могу, что я оказалась достаточно нахальной, чтобы с «посмертной маской» на лице осведомиться у нее, желает ли она войти в семью этого парня. «Вы хотите сказать, что помолвлены и собираетесь заключить брак?» – спросила я.

³ Джерри Ли Льюис (р. 1935) – американский певец, пианист, композитор, один из основоположников и ведущих исполнителей рок-н-ролла.

Когда я задала этот вопрос, она словно лишилась рассудка, повернулась к заплаканным матерям с их анкетами и картонками, обругала их последними словами и швырнула книгу посещения на пол. Не знаю, почему я обращалась с ней настолько холодно. Полагаю, что я могла ей завидовать. В конце концов, меня никто даже не пытался изнасиловать. Я всегда полагала, что в самый первый раз меня обязательно возьмут силой. Конечно, я надеялась, что насильником будет самый сентиментальный, нежный и красивый из мужчин, кто-то, кто втайне влюблен в меня, – в идеале, Рэнди. После того как девушка ушла и у меня выдался свободный момент, я пролистала дело того насильника. На фотографии был изображен прыщавый чернокожий парнишка с сонным выражением лица. В перечень его преступлений входили похищение выстиранного белья с соседской веревки, курение сигарет с марихуаной и порча чужого автомобиля. Он показался мне не таким уж плохим.

Помимо прочего, моей задачей в часы посещений было говорить охранникам, кого из парней вызывают на свидание – по одному зараз, конечно же.

Яснее всего я помню двух охранников: Рэнди, конечно же, и Джеймса. Мне кажется, у Джеймса была черепно-мозговая травма или какое-то нервное заболевание. Он всегда был беспокоен, постоянно потел и, похоже, испытывал крайний дискомфорт в чьем-либо присутствии. Самой трудной частью работы для него была необходимость общаться с мальчиками или появляться перед плачущими матерями. Оставаясь один, Джеймс замирал в зловещей неподвижности, словно слишком сильно натянутая резинка рогатки. Он, казалось, часами мог сидеть так, подобно каменной статуе, когда выпадала его очередь охранять коридор, – но эта каменность грозила взрывом в любую секунду. Теперь я полагаю, что это была нелепая трата человеко-часов, потому что другой охранник сидел чуть дальше по коридору, у дверей в жилое крыло – или как там мы называли помещения, где мальчики жили, спали, прогуливались и читали Библию – в общем, делали то, что им положено было делать.

Еще одной нелепостью – о которой я только сейчас вспомнила – было то, что я отвечала за обеспечение безопасности со стороны женщин-посетительниц. Поскольку в тюрьме не было охранниц или надзирательниц, моей обязанностью было обыскивать матерей заключенных, лениво похлопывая их обеими руками по плечам и бедрам и проводя рукой по спинам. Обычно Рэнди тоже присутствовал при этом, стоя на страже у двери в комнату свиданий, и иногда, прикасаясь к этим женщинам, я воображала, что трогаю руками Рэнди. Рэнди, который, как и эти женщины, похоже, почти не замечал меня. Я была просто парой рук, нервно мелькающих в воздухе. Все посетительницы были просто грустными женщинами, безвольными и полными раскаяния, они никогда не проявляли агрессии. Конечно же, во время своих смехотворных обысков я ни разу не нашла ни спрятанный нож, ни пистолет, ни флакончик с ядом в кармане какой-либо из этих убитых горем матерей. Охранники, похоже, также практически не обращали на это внимания. Мужчины редко приезжали навестить узников. Быть может, это потому, что они не могли отпрашиваться с работы, но мне кажется, что у многих мальчиков, попавших в тюрьму, попросту не было отцов, и в этом заключалась часть проблемы. Все это было очень печально.

Светлым пятном среди этого страдания посетительских часов был шанс побыть рядом с Рэнди. Я помню странный запах его пота. Этот запах был сильным, но не отвратительным. Добрый запах. В те времена люди пахли лучше. Я уверена, что это правда. С годами мое зрение ослабло, но обоняние по-прежнему остается острым. Нынче мне часто приходится выходить из комнаты или отходить подальше, если рядом со мной кто-то дурно пахнет. Я не имею в виду запах пота или грязи – скорее какой-то искусственный, едкий запах, обычно исходящий от людей, которые пытаются замаскировать естественный запах своего тела кремами и парфюмерией. Этим пахучим людям нельзя доверять. Они – хищники. Они – словно псы, которые валяются в фекалиях других животных. Это тревожит. Хотя я в целом испытывала паранойю относительно того, как от меня пахнет – не воняет ли мой пот, не исходит ли из моего рта вонь

такая же омерзительная, как и привкус в нем, – но я никогда не пользовалась парфюмерией и всегда предпочитала мыло и крем без запаха. Ничто не привлекает к мерзкому запаху больше внимания, чем аромат, призванный замаскировать его. Когда мы с отцом остались одни, стирка стала моей обязанностью, но я редко ею занималась. Однако, если я бралась стирать, запах грязной одежды и белья был таким отвратительным, что я часто задыхалась и кашляла, мучаясь сухими рвотными позывами, стоило мне его учуять. Это был запах чего-то похожего на скисшее молоко и пот, сильно одобренный запахом джина, и даже сейчас мой желудок выворачивается при одной мысли о нем.

Рэнди пах совершенно иначе – резко, как океан, сильно и тепло. Он был очень привлекателен. Он пах, как пахнет честный человек. Миссис Стивенс говорила мне, что все охранники были наняты через бюро по трудоустройству окружного управления исправительных заведений. Так что, полагаю, все они некогда отсидели свой срок. У всех были татуировки. Даже у Джеймса – кажется, свастика. Татуировка Рэнди изображала размытое лицо женщины – я надеялась, что это его мать. Однажды рано утром в первые месяцы своей работы в «Мурхеде», пока наши офисные дамы собирали пасхальную корзинку, я прочитала личное дело Рэнди, к которому прилагался список его подростковых правонарушений – половое извращение и взлом с проникновением. В юности он отбывал срок в «Мурхеде», и этот факт сделал его для меня еще более привлекательным.

Вы меня знаете. Я провела много часов, гадая, в отношении кого Рэнди мог совершить половое извращение. Я полагала, что это какая-нибудь девушка-подросток, у которой были неприятности с родителями из-за того, что она не вовремя явилась домой или забеременела. Рэнди не казался мне склонным к насилию, но время от времени я видела, как он применяет силу, утихомиривая мальчишек. Мне представлялось, что он хорош в рукопашной. Одной из моих любимых грез была такая картина: Рэнди подождет окончания моей смены и попросит разрешения проводить меня до машины. Когда я дойду до скользкой ледяной дорожки возле стоянки, он предложит мне опереться на его руку, но я откажусь, и он почувствует себя отвергнутым и смущенным. Но потом я поскользнусь на льду и буду вынуждена, несмотря на свою застенчивость, ухватиться за его крепкий локоть обеими руками, затянутыми в перчатки, а он посмотрит мне прямо в глаза и, быть может, поцелует меня. Или вместо этого схватит меня за плечи и прижмет меня к «Доджу», уткнув лицом в заиндевшее стекло, задерет мою юбку и разорвет мои колготки и трусики, а затем проведет пальцами у меня между ног, чтобы ощутить все мои складки и полости, а затем, не сказав ни слова, войдет в меня, жарко дыша мне в ухо. В этой фантазии на мне не было пояса-бандажа.

Это не любовная история. Но я расскажу еще немного о Рэнди, прежде чем перейти к подлинному персонажу моего повествования. Забавно, как любовь может перепрыгивать с одного человека на другого, подобно блохе. Пока несколько дней спустя не появилась Ребекка, именно постоянные мысли о Рэнди удерживали меня на плаву. Я все еще помню его адрес, потому что на выходных я часто проезжала мимо его квартиры в соседнем городке и, тайно поглядывая из «Доджа» на его окна, пыталась увидеть: дома он или нет, один ли, спит он или бодрствует? Я хотела знать, что он делает, о чем думает, приходят ли ему в голову хотя бы мимолетные мысли обо мне. Несколько раз, без всякого умысла, я натыкалась на него в Иксвилле, просто проходя по Мэйн-стрит. Всякий раз я приветственно поднимала руку, открывала рот, чтобы заговорить с ним, но он просто проходил мимо меня. Моя грудная клетка едва ли не схлопывалась внутрь от разочарования. «Когда-нибудь он увидит меня, настоящую меня, и полюбит», – твердила я себе. А до тех пор слонялась вокруг, поглядывала на него и делала все возможное, чтобы постичь его привычки, жесты, выражения лица, считая, что беглое понимание языка его тела сумеет помочь мне, когда придет мой час доставить ему удовольствие. Ему не нужно будет говорить ни слова. Я сделаю все, чтобы он был счастлив, – так я думала. Но я не была глупа. Я знала, что Рэнди вступал в сексуальные отношения с девушками. И все же

я не могла представить его участвующим в акте соития, как я тогда мысленно называла это. Я не могла даже начать воображать его обнаженные интимные места, хотя в порнографических журналах отца и видела их. Однако я представляла, как в моменты после соития Рэнди, беспечно смеясь, лежит на смятой постели рядом с неразличимой женской фигурой. Я невероятно ценила малейшее внимание с его стороны. Один его взгляд в мою сторону заставлял мой пульс несколько часов биться быстрее. Но довольно о нем. До встречи, Рэнди, до встречи.

Вот как я выглядела в ту пятницу: скрипучие туфли «под крокодилову кожу» с толстыми стоптанными каблуками и квадратными пряжками золотистого цвета; белые колготки, в которых мои тощие ноги казались деревянными, как у куклы; толстая желтая юбка из ткани-букле, ниспадающая ниже колен; серый шерстяной свитер с подбитыми плечами поверх белой хлопчатобумажной блузки; маленький крестик латунного цвета; прическа, сделанная несколько дней назад; никаких сережек; помада того оттенка, который в магазинах именовался «неисправимо-красным». Я, должно быть, выглядела как девятнадцатилетняя девушка, которая пытается сойти за шестидесятипятилетнюю старуху в этом взрослом наряде и с неуклюжей пародией на пристойность. Другие девушки к моему возрасту уже были замужем, остепенились, родили детей. Это было мне недоступно. По виду и поведению я была абсолютной домоседкой – наивной и неинтересной. Если б вы спросили меня, я сказала бы, что для того, чтобы заниматься любовью, нужно любить. Я сказала бы, что женщина, которая занимается любовью без любви, – шлюха.

Задним числом я не думаю, что мое желание завести роман с Рэнди было таким уж глупым. Подобный союз не был бы абсурдом. У него имелась работа, он был здоров и молод, и, как мне кажется, мечта вступить с ним в отношения не была столь уж невыполнимой. В конце концов, я была молодой женщиной, которая постоянно находилась поблизости от него. Несмотря на мою паранойю, в моей тогдашней внешности не было ничего особенно отвратительного. Я была непривлекательной на взгляд большинства, но многим мужчинам плевать на подобные вещи. Конечно, Рэнди и без того было на кого посмотреть. И если б я каким-то образом действительно привлекла его взор, я не знала бы, что с этим делать.

К тому времени, как мне исполнилось тридцать, я научилась расслабляться, подмигивать в зеркало и беспечно бросаться в объятия бесчисленных любовников. Мое двадцатичетырехлетнее «я» умерло бы от потрясения, узрев, как быстро испарилась моя благопристойность. И когда я покинула Иксвилл, немного пришла в себя и купила одежду, которая мне шла, то, увидев меня на Бродвее или на Четырнадцатой улице, вы могли бы принять меня за студентку последнего курса или, может быть, за ассистентку известного художника, которая идет забрать из галереи чек за его проданные картины. Этим я хочу сказать, что по сути своей я вовсе не была непривлекательной. Я просто была незаметной.

В тот день после обеда матери приходили и уходили. Листки с заполненными опросами в конце концов отправились в мусор вместе с кучками блестящих фантиков от карамели, похожими на груды мертвых насекомых. «Верите ли вы в существование жизни на Марсе?», «Какие качества вы больше всего цените в служащих полиции?». Каждый день я собирала в вестибюле десяток промокших бумажных платочков, испачканных губной помадой и напоминающих пухлые увядшие гвоздики с розовыми пятнышками на лепестках. «Знаете ли вы иностранные языки?», «Предпочитаете ли вы консервированный горошек или консервированную морковь?», «Куриете ли вы?». Прозвенел звонок, извещающий о том, что кто-то из мальчиков делает что-то недопустимое, за что полагается строгое наказание. Джеймс поднялся со стула и механической походкой направился по коридору, разминая руки. Я сжала в кулаке использованные платочки, потом отправила их в ведро, к фантикам и анкетам.

– Вынеси мусор, Эйлин, – сказала мисс Стивенс, посмотрев на меня через плечо, – она как раз наклонялась к нижнему ящику своего стола, чтобы достать новую упаковку конфет.

«Если на Марсе и была жизнь, всё уже вымерло, – писала одна из матерей. – Мужчина должен быть широкоплечим и носить усы. Немного знаю французский. Горошек. Шесть пачек в неделю, иногда больше».

* * *

Прежде чем я в ту пятницу покинула «Мурхед», миссис Стивенс попросила меня украсить рождественскую елку, которую дворник втащил в тюремный вестибюль, опустевший после окончания часов посещений. Я помню, что это была, собственно, не ель, а пышная сосна, ее иголки были толстыми и мягкими, а смола наполняла воздух невероятным запахом. У нас был чулан, где хранились украшения для всех праздников: вырезанные из картона пасхальные кролики и золотистые яйца, флаги в честь Дня независимости, вымпелы для Дня труда и Дня поминовения, индейки ко Дню благодарения и тыквы. Как-то раз на Хеллоуин мы повесили гирлянды чеснока над дверью офиса, и на собрании после обеда начальник с отвращением процитировал нам слова из Второзакония о мерзостях пред Господом. Это было совершенно нелепо.

Рождественские украшения лежали точно так же, как я оставила их год назад, вперемешку упакованные в ветхую картонную коробку. Шарик, украшенный мелкими блестками и золотистыми звездочками, трескался и выцветал, каждый год все меньше их возвращалось в гнездо, сделанное из старых газет, но они были очень милыми и наполняли мою душу тоской. У меня были сложные чувства в отношении праздников – в это время года я не могла удержаться и не впасть в пахнущую нафталином жалость к себе, которую постоянно вызывало во мне Рождество. Я горевала об отсутствии тепла и любви в моей жизни, загадывала на упавшую звезду, чтобы ангелы явились и вырвали меня из моего прозябания и унесли в новую светлую жизнь, как в кино. Я буквально впитывала дух Рождества, как это называлось. В детстве меня учили, что меня похвалят и вознаградят за страдания и за усилия быть хорошей, но ежегодно Господь обманывал меня. Ни подарков, ни чудес, ни святой ночи. Я жалела себя и за это тоже. Распаковывая украшения, я пыталась сохранять невозмутимость на лице. В коробке лежали остролистовые гирлянды, сделанные из пластмассы и пахнущие, как сильнодействующие антисептики, – мне это нравилось. А на дне коробки хранился «дождик» и старые снежинки, вырезанные мальчиками из белого ватмана множество рождественских праздников назад – некоторым снежинкам, вероятно, было уже лет двадцать. Когда я разворачивала их, они являли собой тревожные, резкие геометрические формы, как будто само вырезание их было маленьким актом насилия. Однако имена, начертанные в углу каждой снежинки простым карандашом, были выведены ровным, спокойным почерком, надписи выцвели от времени. Я помню некоторые имена: Чейни Моррис, 17 лет, Роджер Джонс, 14 лет. Предполагалось, что я налеплю эти снежинки на крашеную кирпичную стену вестибюля, но я потратила весь скотч еще неделю назад на то, чтобы подклеить подол своего свитера, когда он начал распускаться, поэтому просто рассовала снежинки между ветками сосны. Так они были похожи на настоящий снег. Я любила методичную работу, такую как развешивание украшений, и для меня не составляло проблем полностью посвятить себя этой задаче. Это было хорошо. Хотя бы на какое-то время я могла почувствовать себя легко и беззаботно. Часть украшений я приберегла для верхней трети дерева, куда не могла дотянуться, не задрав руки высоко над головой, – а если б я это сделала, все увидели бы темные пятна пота у меня под мышками. Небеса запретны.

– Вы не могли бы принести стремянку? – попросила я Джеймса, когда он вернулся на свой пост.

Я помню запах его помады для волос – грустный ланолиновый запах. Джеймс аккуратно поставил стремянку рядом с сосной и придержал, пока я карабкалась наверх. На его лысеющей голове, словно роса, выступили капли пота.

– Не смотрите, – предупредила я, хотя знала, что он никогда не осмелится заглянуть мне под юбку. Он кивнул. Мне редко приходилось изображать из себя важную персону, и мне нравилось это.

Когда я закончила с украшениями и поставила пустую картонную коробку обратно в чулан, миссис Стивенс подняла взгляд от своих бумаг. Дерево выглядело чудесно – я очень этим гордилась, – но она едва взглянула на него. На носу у миссис Стивенс была сахарная пудра, а на кофте – мазок малинового желе, но у нее не было ни малейших понятий о благопристойности, и, похоже, ей было все равно, что о ней подумают люди.

– Эйлин, – сказала она зловеще монотонным голосом. – В понедельник во время праздничного представления ты будешь заниматься освещением. Я больше не могу это делать. И не хочу.

– Отлично, – ответила я.

Я надеялась, что когда-нибудь уеду и мне никогда больше не придется видеть ее или думать о ней, поэтому изо всех сил пыталась ее ненавидеть, выдавливая из наших встреч все отвращение, которое она мне внушала, до единой капли. Мне хватало ума не вступать с ней в споры, но мысленно я посылая в ее адрес чернейшие проклятия. Она взяла меня на эту работу в качестве услуги моему отцу. К моему величайшему стыду, время от времени я случайно называла ее «мама». Тогда миссис Стивенс закатывала глаза и саркастически фыркала, обнажая блестящие десны, на ее растянутых в широкой ухмылке губах проступали пузырьки слюны, а очередная проклятая карамелька постукивала о коренные зубы. «Конечно, милочка, если тебе так лучше». Я смеялась, откашливалась и поправляла себя: «Миссис Стивенс».

Сомневаюсь, что она заслуживала такой глубокой ненависти, которую я направляла на нее, но в те годы я ненавидела почти всех. Помню, как в тот вечер я ехала домой, воображая, как выглядит ее тело под этим платьем с рисунком «пейсли» и серой шерстяной кофтой. Я представляла плоть, свисающую с ее костей, как холодные свиные окорока свисают с крюков в мясной лавке: толстый слой липкого грязно-белого жира, мясо плотное, бескровное и холодное, и нож с чавканьем врубается в него.

Я все еще вижу двадцатиминутный путь от «Мурхеда» до Иксвилла. Обширные заснеженные пастбища, темный лес и узкие грунтовые дороги, а потом дома: сначала редкие фермерские хозяйства, потом здания поменьше, стоящие ближе друг к другу, некоторые обнесены белыми штакетниками или черными металлическими оградами; потом возникает сам город, и с вершины холма на горизонте виден сверкающий океан, а затем – и дом. Конечно же, Иксвилл не был лишен ощущения уюта. Представьте себе старика, который выгуливает золотистого ретривера, представьте себе женщину, которая достает из багажника своей машины сумки с покупками. В этом месте не было ничего столь уж страшного. Если б вы просто проезжали мимо, то решили бы, что здесь всё в порядке. Все и было замечательно. Даже моя машина со сломанной выхлопной системой и открытыми настежь окнами, так что зимний ветер леденил мои уши. Я любила это место – и ненавидела его. Наш дом стоял в одном квартале от перекрестка, где регулировщик по утрам и после обеда управлял потоком машин так, чтобы дети, идущие в школу и из школы, могли перейти дорогу. Школа находилась в соседнем квартале. Очень часто кто-то клал потерянные варежки и шарфы на столбики соседней ограды, а зимой – на широкие гребни сугробов, словно в бюро находок. В тот вечер на снегу у дороги лежала мальчишеская вязаная шерстяная шапка. Я рассмотрела ее при свете фонаря и даже примерила. Она была достаточно тесной, чтобы плотно закрыть мои уши. Я попыталась произнести что-нибудь – «Рэнди», – и мой голос вибрирующим эхом отдался в моей голове. Там, внутри, было до странного спокойно. Машина бесшумно катилась по снежной гряде.

Когда я шла по узкой дорожке к крыльцу, на другой стороне улицы открылась дверца машины, и ко мне по темному льду направился одетый в форму полицейский. Ветер внезапно стих – похоже, собиралась буря. В доме зажегся свет, и коп остановился посередине дороги.

– Мисс Данлоп, – произнес он и жестом пригласил меня подойти поближе.

В этом не было ничего необычного. Я знала большинство полицейских в Иксвилле. Мой отец сделал все, чтобы они регулярно посещали нас. В тот вечер офицер Лэффи сообщил мне следующее: из школы звонили и жаловались, что мой отец швырял с нашего крыльца снежки в учеников, идущих на занятия. Лэффи вручил мне предупредительное уведомление, склонил голову в знак прощания и направился обратно к своей машине.

– Не хотите зайти? – спросила я, слыша, как мой голос гудит между ушами. – Поговорить с ним? – Я помахала письмом.

– Уже поздно, – ответил он, сел в машину и включил радио.

Должно быть, за время моего отсутствия сосульки на козырьке над крыльцом подросли на несколько сантиметров, потому что я помню, что протянула руку, коснулась кончика одной из них и была разочарована тем, какой он тупой. Я могла бы размахнуться своей сумочкой и сшибить их все, если б захотела. Но я просто аккуратно прикрыла дверь и сбросила туфли.

Вот каким был наш дом. Прихожая оклеена обоями в темно-зеленые и синие полосы и отделана золотистыми деревянными панелями. Лестница непокрыта, потому что я минувшим летом сломала пылесос и из-за этого сняла все ковры. В доме слишком темно, чтобы заметить слой пыли, лежащий повсюду. Лампочки в прихожей и в гостиной перегорели. Время от времени я собирала бутылки и пивные банки, раскиданные отцом, раздерганные газеты, которые он читал или притворялся, будто читал, сидя при этом на верхних ступеньках лестницы и бросая одну страницу за другой через перила, так что они усыпали всю прихожую. В ту ночь я подняла несколько страниц – мы выписывали «Пост», – смяла их в тугие комки и бросила ему в спину: он стоял у раковины в кухне.

– Привет, папа, – сказала я.

– Ну, ты умница, – отозвался он, поворачиваясь и пинком отправляя скомканные газетные листы в другой угол.

За все двадцать четыре года, что я знала его, отец, кажется, ни разу не поздоровался и не спросил меня, как дела. Но в те вечера, когда я выглядела особо усталой, он мог спросить меня: «Ну, как твои дружки? Как все твои парни?» Время от времени я задерживалась за кухонным столом на некоторое время, чтобы съесть пару пакетиков арахиса и послушать, как он жалуется. Мы с отцом ели много арахиса. Я согрела ладони над плитой. Помню, я носила тонкие черные перчатки с зелеными цветочками, вышитыми вдоль пальцев. В нелепой ненависти к себе я даже не думала о том, чтобы купить хорошие, теплые зимние перчатки. Однако эти черные, в цветочек, мне нравились. В те времена женщины еще носили перчатки. Я не имела ничего против этого обычая. Кожа у меня на руках была тонкой, чувствительной и всегда холодной, и я не любила дотрагиваться до чего-либо.

– Кого-нибудь новенького привезли? – спросил в тот вечер папа. – Как поживает мальчишка Польк?

О Польке недавно писали во всех новостях – иксвиллский коп, убитый собственным сыном. Мой отец знал убитого, они когда-то служили вместе.

– Платит за свои грехи, – ответила я.

– Так ему и надо, – проворчал мой отец, вытирая руки о халат.

На кухонном столике возле плиты грудой лежала почта. В этом месяце «Нэшнл джио-грэфик» был довольно скучным. Несколько лет назад я нашла в букинистическом магазине этот номер – декабрь 1964 года, – и храню его где-то среди своих книг и бумаг. Сомневаюсь, что подобные вещи чем-то ценны пятьдесят лет спустя, но мне этот выпуск журнала кажется священным – слепок мира, сделанный перед тем, как для меня все изменилось. В нем не было ничего особенного. На обложке был размещен снимок двух уродливых белых птиц – возможно, голубей, – сидящих на узорной чугунной ограде. Позади и выше них, не в фокусе, виднелся церковный крест. В самом номере рассказывалось об истории округа Вашингтон, о каких-то

экзотических туристических местах в Мексике и о Ближнем Востоке. В тот вечер, когда он был еще новеньким и пах клеем и типографской краской, я ненадолго открыла его, увидела фотографию пальмы на фоне розового заката и разочарованно бросила журнал на кухонный стол. Я предпочитала читать о таких местах, как Индия, Белоруссия⁴, трущобы Бразилии, Африка, где голодают дети.

Я передала отцу предупредительное письмо от офицера Лэффи и съела еще несколько зерен арахиса. Отец помахал письмом перед своим лицом и швырнул, не распечатывая, в мусор.

– Показуха это, – прокомментировал он.

Бредовые идеи, которыми он страдал, были всеобъемлющими – все и вся играли роль в его теории заговора. Ничто не было тем, чем казалось. Его преследовали видения, темные фигуры – «шпана», как он их называл, – которые, по его словам, двигались настолько быстро, что он мог рассмотреть только их тени. Они прятались под крыльцом, скрывались в темных углах, в кустах, в кронах деревьев, и они преследовали и мучили его, – так он утверждал. Отец объяснил, что в тот день бросал снежки из окна и с крыльца, чтобы дать этим фигурам понять, что ему известны их замыслы. А полиции приходится предостерегать его, чтобы сделать вид, что ничего странного не происходит – мол, старик просто выжил из ума.

– Они и здесь тоже есть, – сказал он, имея в виду «шпану» и обводя дрожащим пальцем кухню. – Наверное, пробираются через подвал. Расхаживают кругом, словно они здесь хозяева. Я слышал их. Может быть, они живут в стенах, как крысы. Да и звуки издают такие же, как крысы. Черные призраки. – Они преследовали его день и ночь, так что единственное его спасение, конечно же, было в выпивке. Отец сел за кухонный стол. – Это их те бандиты подослали. – «Ну да, конечно». – Как ты думаешь, почему копы всегда здесь? Чтобы защищать меня. После всего, что я сделал для этого города.

– Ты пьян, – прямо заявила я.

– Я уже много лет не бывал пьян, Эйлин. Это, – он приподнял банку пива, – чтобы успокоить нервы.

Я открыла пиво и себе, и закинула в рот несколько орешков арахиса. Подняв взгляд, спросила:

– И что тебя так рассмешило? – потому что он смеялся. У него такое было часто – отец мгновенно переходил от страха и подозрительности к жестокому истеричному веселью.

– Твое лицо, – ответил он. – Тебе не о чем беспокоиться, Эйлин. Никто тебя с таким лицом не тронет.

Вот именно. Черт бы его побрал. Я помню, как поймала свое отражение в темном оконном стекле гостиной позже в тот вечер. Я выглядела взрослой. Мой отец не имел права оскорблять меня.

В тот вечер к нам заехала Джоани. На ней была белая шубка из искусственного меха, мини-юбка и теплые ботики; ее уложенные в высокую прическу волосы подрагивали на темени, глаза были густо подведены черным карандашом. Она была белокурой, обидчивой, но отходчивой – по крайней мере, тогда. Полагаю, впоследствии сестра сделалась желчной – в конце концов, эта обидчивость во что-то должна была развиваться, – но я надеюсь, что она здорова, счастлива и рядом с ней есть те, кто ее любит. Джоани была особенного рода девушкой. Когда она двигалась, казалось, что она просто приспособливает свою плоть к движениям, небрежно расправляя ее, словно шубку, чтобы было удобно. Я не могла ее понять. Полагаю, она была очаровательной, но всегда такой придирчивой, особенно когда делано-наивным тоном спрашивала меня: «Тебе не смешно носить свитер своей покойной матери?» Иногда вопросы были более сестринскими, например: «Почему у тебя такое лицо? Что у тебя стряслось на этот раз?».

⁴ Анахронизм автора.

В тот вечер я просто покачала головой и сделала бутерброд с ветчиной. Хлеб, масло, ветчина. Джоани захлопнула свою пудреницу и подошла сзади, чтобы потыкать меня в ребра.

– Мешок костей, – прокомментировала она, схватив с тарелки мой бутерброд. – До встречи, – сказала сестра, поцеловав папу, сидящего в кресле. Больше я никогда ее не видела.

Я поднялась на чердак и улеглась на свою раскладушку с журналом, гадая, скучала бы я по своей сестре, если б та умерла? Мы выросли вместе, но я почти не знала ее. И она уж точно не знала меня. Я доставала из жестянки шоколадные конфеты, жевала их и по одной выплевывала на измятую коричневую бумагу, в которой их принесли из магазина. Я перевернула очередную страницу.

Суббота

К полудню субботы добрых шесть дюймов свежего снега выпало поверх прежнего слоя, и так уже достигавшего колена.

Утро в такие дни бывало тихим, свежий снег приглушал все звуки. Даже холод, казалось, утих, все резкое и громкое пропало из мира. Потом затопили печи, из труб пошел дым от горящих поленьев, и дома Иксвилла, покрытые снегом и льдом, словно бы начали плавиться и течь, подобно восковым свечам. В моей комнате на чердаке было холодно, и я посчитала, что мне незачем вылезать из постели. Просто высунув руку из-под одеяла, я решила, что в достаточной степени исследовала мир. Несколько часов я лежала на раскладушке, мечтая и размышляя. Для экстренных случаев у меня был широкогорлый кувшин – я пользовалась им, когда не хотела вылезать с чердака или когда ярость отца вынуждала меня укрываться здесь. Чувствуя себя так, будто я живу на природе, в лесной глуши, далеко от дома, я присела на корточки над кувшином, задрав подол широкой ночной рубашки, доставшейся мне от матери, и приподняв старый ирландский шерстяной свитер, в котором спала зимой. Дыхание вырывалось из моего носа белыми клубами, словно испарения из ведьминого котла, моча выпускала пар и вонь, и я выплеснула желтую жидкость за окно чердака, в забитую снегом сточную канаву.

Работа моего кишечника была совершенно иным делом. Он опорожнялся нерегулярно – раз в неделю, максимум два раза, – и редко делал это самостоятельно. У меня выработалось отвратительное обыкновение выпивать разом десяток и более слабительных пилюль, когда я чувствовала себя толстой и расплывшейся, – а это бывало часто. Ближайший туалет находился этажом ниже, и туда же ходил мой отец. Я чувствовала себя неловко, опорожняя кишечник. Я боялась, что запах донесется до кухни на первом этаже или что отец постучит в дверь, пока я сижу на унитазе. Более того, я стала зависеть от слабительного. Без него дефекация была болезненной и трудной, приходилось целый час мять и гладить живот, тужиться и ругаться. От усилий анус часто кровоточил, я в ярости вонзала ногти в бедра или била себя в живот. Со слабительным опорожнение происходило стремительно и обильно, как будто все мои внутренности расплавились и теперь вытекали наружу; жидкие фекалии отчетливо пахли лекарством, и я наполовину ожидала, что к окончанию процесса эта жижа дойдет до ободка унитаза. В таких случаях я вставала, чтобы смыть за собой, ощущая головокружение, холод и выступивший по всему телу пот, а затем падала, и весь мир, казалось, вращался вокруг меня. Это были приятные моменты. Опустошенная, измученная, легкая, словно воздух, я лежала, отдыхая, посреди этого безмолвного кружения, мое сердце выплясывало странный танец, а разум был пуст. Для того, чтобы насладиться этими моментами, мне было необходимо полное уединение. Поэтому я пользовалась туалетом в подвале. Отец мог решить, что я просто занимаюсь там стиркой. Подвал был безопасной и уединенной территорией для моих послетуалетных мечтаний.

Однако в других случаях подвал вызывал у меня темную тень воспоминаний о моей матери и о том, сколько времени она проводила там – что она делала в подвале столько времени? Я по-прежнему этого не знаю. Мать поднималась, прижимая к бедру корзину с выстиранной одеждой или постельным бельем, тяжело дыша и отдуваясь, и говорила мне, чтобы я шла прибирать свою комнату, причесываться, читать книгу и оставила ее в покое. Подвал до сих пор хранил те секреты, которые, как я подозревала, она скрывала там. Если темные призраки и «шпана», преследовавшие моего отца, и появлялись откуда-то, то именно оттуда. Но почему-то, когда я спускалась туда, чтобы воспользоваться туалетом, я чувствовала себя отлично. Воспоминания, призраки, ужасы, судя по моему опыту, вполне могут вести себя так – приходить и уходить тогда, когда им удобно.

В ту субботу я оставалась в постели так долго, как только могла, пока голод и жажда не заставили меня влезть в тапочки и халат и прошлепать вниз. Мой отец полулежал, свернув-

пелась в своем кресле, перед распахнутой дверцей духовки. Похоже, он спал, поэтому я закрыла духовку, выпила воды из-под крана, набила карманы халата пакетиками с арахисом и поставила на плиту чайник. Снаружи все было ослепительно-белым, и свет заливал кухню, словно прожектор, освещающий место преступления. Помещение было грязным. Позднее, оказавшись на каких-либо особенно неухоженных станциях подземки или в общественных туалетах, я вспоминала об этой старой кухне и чувствовала тошноту. Неудивительно, что у меня почти не было аппетита. Сажа, жир и пыль покрывали все поверхности. Весь пол, застеленный линолеумом, был испещрен пятнами от пролитых жидкостей и оброненной пищи и грязными следами обуви. Но какой смысл был прибираться здесь? Ни я, ни отец ничего не готовили и не особо волновались о еде. Время от времени я споласкивала одну из чашек или стаканов, сваленных в мойку. Чаще всего я ела хлеб, пила молоко прямо из картонной упаковки, и только иногда вскрывала банку фасоли или тунца, или поджаривала ломоть хлеба. В тот день я ела арахис, стоя на крыльце дома.

Соседи откапывали свои машины – работа, которую я ненавидела. Я предпочитала дожидаться кого-нибудь из парней, живущих в нашем квартале, и заплатить ему двадцать пять центов за разгребание снега. Я всегда рада была заплатить. Я бросала скорлупки от арахиса в занесенные снегом кусты – самое большее, что я могла сделать в этом году вместо украшения собственной рождественской елки.

– А ну, тихо! – заорал отец, когда чайник издал пронзительный свист. – Что так рано? – пробормотал он, разлепляя веки и моргая на солнечный свет. – Задержи шторы, Эйлин, черт тебя побери!

Штор на кухне не было. Старые занавески отец сорвал еще год назад, утверждая, что тени, которые они отбрасывают, отвлекают его от настоящих призраков. Он хотел беспрепятственно видеть задний двор и тех, кто может туда проникнуть.

В то утро отец протер глаза кулаками, потом стал наблюдать, как я делаю себе чай.

– Кто-нибудь может увидеть тебя в этой одежде. Ты выглядишь полной растрепой.

Он запахнулся в свой халат и вытер лицо о жесткую пыльную обивку кресла. Под весом его ворочающегося тела оно скрипело и позвякивало, словно локомотив на холостом ходу.

– Ты голоден? – спросила я его. – Могу сварить пару-тройку яиц.

– Умираю – пить хочу, – ответил он, невнятно произнося слова, между его губами пузырилась слюна. – Никаких яиц. Никаких вонючих яиц.

Я видела, как его ступни дрожат под тонким одеялом.

– Холодно, – пожаловался отец. Я отпила чаю и посмотрела ему в лицо. Его прикрытые веки были похожи на занавеси из морщинистой кожи. Ресниц у него словно бы вообще не было, лицо выглядело серым, бесцветным. – Ради бога, Эйлин. – Он неожиданным рывком сел прямо и распахнул дверцу духовки, выпуская наружу жар. – Ты пытаешься убить меня! Думаешь, ты такая умная, да? Это мой дом. – Отец завернул ноги в одеяло, подоткнул края вокруг ступней. – Мой дом, – повторил он и свернулся калачиком, словно дитя в колыбели.

Когда-то мой отец был полицейским в этой части округа, одним из горстки местных копов, которые в основном занимались тем, что снимали котлов с деревьев или развозили пьяных по домам из вытрезвителя в соседнем городке. Все полицейские Иксвилла были хорошо знакомы между собой. Мой отец всегда пользовался уважением среди тех, кто знал его по службе; за холодный взгляд синих глаз и склонность обаятельным тоном читать морали он заслужил прозвище Отче Данлоп. Со времен службы в морской пехоте отец сохранил склонность к язвительным островам. Он любил свою полицейскую форму. Когда был на службе, он часто даже спал в ней по ночам и с револьвером под рукой. Должно быть, думал, что действительно занят важным делом, что ему могут позвонить среди ночи и вызвать на задержание крупного преступника. Но ему так и не выпало проявить героизм. Мне все равно придется об этом сказать, поэтому я скажу так, как видела это: он любил только себя, был полон гордости

и носил свой полицейский значок, словно золотую звезду, прикрепленную к его груди лично Господом Богом. Если это звучит банально – так он и был банален. Он был очень банален.

Я не думаю, будто до смерти моей матери отец как-то особо много пил. Он был самым рядовым любителем пива, и только самыми холодными утрами позволял себе глоток виски. Также ничего необычного не было в том, что он со своими друзьями-полицейскими регулярно заходил в «О'Хара». «О'Хара» – это был местный бар, назову его так в честь поэта⁵, с чьим творчеством я никогда не разрешала себе ознакомиться, даже во взрослом возрасте. Папа стал персоной нон грата в «О'Хара» после того, как наставил пистолет на владельца. Когда моя мать заболела – я предпочитала формулировку «почувствовала себя плохо» за сдержанность и, как следствие, за иронию, учитывая то, какой мучительной была смерть от этой болезни, – мой отец начал брать отгулы на работе, пить дома, слоняться ночами по улице и засыпать на соседских крылечках. А потом стал пить больше – по утрам, на работе. Он разбил патрульную машину, а потом случайно выстрелил из пистолета в раздевалке полицейского участка. Поскольку отец был старшим офицером и все подразделение любило его – по причинам, которые мне никогда не понять, – эти нарушения не обсуждались открыто. Когда он начал причинять все больше и больше неприятностей, его просто мягко вынудили раньше срока уйти в отставку, получать пенсию и постоянно находиться под присмотром. По каким-то таинственным мотивам сразу после смерти моей матери он переключился на джин. Единственная моя догадка, не знаю, истинная или нет, заключалась в том, что, возможно, джин напоминал ему ее духи – она пользовалась туалетной водой «Аделаида» с терпким, горьковатым цветочным запахом. Может быть, сам этот запах, память об умершей, каким-то образом успокаивал его. А может быть, и нет. Я слышала, что глоток джина защищает тебя от укусов комаров и других кровососов, – так что, возможно, отец пил его по этой причине.

После обеда я занималась тем, что разгребала снег. Никто из мальчишек не появился и не спросил, не заплачу ли я ему, если он сделает это вместо меня. В прошлом я всегда испытывала тихий восторг, когда кто-нибудь из соседских парней звонил в дверь после метели. Им было лет двенадцать-тринадцать, они носили варежки и вязанные шапки, от них пахло сосновой хвоей и сладостями. Один из мальчиков был особенно милым. Поли Дэли, певучее имя и ангельское лицо – пухлые розовые щеки и большие сапфировые глаза. Когда я видела его, мне хотелось обнять его, прижать к себе. Поли, несмотря на тяжелое шерстяное пальто, идеально справлялся со своей работой: откапывал мою машину, выгребал снег из-под колес и расчищал подъездную дорожку так, что я без труда могла открыть дверцу с водительской стороны – сама я иногда забывала это сделать. Это казалось таким заботливым поступком с его стороны. Я воображала, будто это значит, что я по-настоящему небезразлична ему. Однажды я пригласила Поли Дэли зайти в дом, пока искала мелочь, чтобы заплатить ему. Он отряхнул ботинки, прежде чем войти в прихожую, и снял вязаную шапочку. Он был очень хорошо воспитан. Его мягкие волосы были взъерошены, и я с трудом удержалась, чтобы не провести по ним рукой.

– Хочешь горячего шоколада? – спросила я его. Мне казалось, что он не считает меня странной, чопорной, безэмоциональной девицей, какой видели меня все, по крайней мере, я так думала. Он хлюпнул носом, взглянул на грязный ковер, спрятал одну ногу за другую, потом снова надел шапку и, краснея, вежливо ответил:

– Нет, спасибо.

Тогда я поцеловала его в щеку. Я ничего под этим не подразумевала. Просто он был милым мальчиком и нравился мне. Но он покраснел и вытер прозрачную каплю, поблескивавшую между его носом и верхней губой. Выглядел он совершенно обескураженным. Я сделала шаг назад и стала рыться в карманах пальто, висевших в шкафу у входа.

⁵ Фрэнк О'Хара (1926–1966) – американский писатель, поэт и арт-критик, один из ключевых авторов нью-йоркской поэтической школы.

– Извини, – произнесла я, нарушив неловкое молчание, и ссыпала всю мелочь, какую нашла, в его сложенные ладони.

Он кивнул, назвал меня «миссис Данлоп», ушел и больше никогда не приходил.

Когда в ту субботу я закончила счищать снег с машины, я опустила окна и включила мотор «Доджа» на холостом ходу, чтобы дать автомобилю немного прогреться и оттаять. Еще не наступил вечер, и я хотела прокатиться к дому Рэнди. Я чувствовала, что мне это нужно. Он жил на верхнем этаже двухэтажного дома неподалеку от автомагистрали, ведущей в соседний штат. Я крепко цеплялась за суеверное представление, что если я буду внимательно следить за ним, Рэнди не влюбится ни в кого другого. Насколько я могла заметить, почти все время он проводил в одиночестве в своей квартире. Но я никогда не выслеживала его по ночам – мне было слишком страшно, – так что кто знает, скольких подруг Рэнди развлекал после наступления темноты? Время от времени рядом с его мотоциклом, припаркованным на занесенной снегом подъездной дорожке, появлялся второй. Я предполагала, что у него есть друг или брат, который приезжает к нему в гости, – и даже это заставляло меня ревновать. Обычно я парковалась на другой стороне улицы, пригибалась над рулевым колесом и следила за его домом в боковое зеркальце. Однако не было особого смысла прятаться. Я сомневаюсь, что Рэнди узнал бы меня, если б застал за этими шпионскими действиями. Я сомневаюсь, что он вообще знал мое имя. И все же я молилась об идеальном шансе завоевать его сердце. Я целыми часами сидела там и прикидывала, как бы произвести на него впечатление своими женскими уловками. Мои грезы о пальцах, языках и тайных свиданиях в дальних коридорах «Мурхеда» не давали моему сердцу остановиться, иначе, кажется, я умерла бы от тоски. Таким образом, я жила неотступными фантазиями. И, как любая приличная молодая женщина, я скрывала свои постыдные извращенные мысли под фасадом чопорности. Конечно же, я это делала. Легко определить, у кого самые грязные мысли, – просто высмотрите самые чистые ногти. Мой отец, например, не испытывал никакого смущения относительно своих порнографических журналов – они валялись за унитазом, под кроватью, которую он делил с моей матерью, были грудami навалены на полках в погребе, на комодe в комнате отдыха, в коробках на чердаке. И тем не менее он был твердым католиком. Конечно же, был. Мое лицемерие меркнет в сравнении с лицемерием моего отца. Я никогда не испытывала вины за то, что сделала с ним. В этом мне повезло.

В тот день, прежде чем поехать к дому Рэнди, я надела старые солнечные очки матери – большие, нелепые, продолговатой формы стекла в черепаховой оправе.

– Кого ты хочешь обдурить? – фыркнул отец. Он уже проснулся и сидел, склонившись над столом, словно пытаясь перевести дыхание, и закутавшись в одеяло, словно в плащ. – Идешь шляться со своими дружками? Весело-весело встретим Рождество? – Он закатил глаза, ухватился за спинку кухонного стула и стукнул им о пол. – Сядь, Эйлин.

– Пап, я опаздываю, – солгала я, смещаясь поближе к двери.

– Куда опаздываешь?

– У меня назначена встреча.

– С кем встреча? Зачем?

– Мы идем в кино.

Он моргнул, хмыкнул, потер подбородок и окинул меня с головы до ног взглядом.

– Это так ты вырядилась на свиданку?

– Я встречаюсь с подругой, – ответила я. – Со Сьюзи.

– А что же твоя сестра? Почему бы тебе не сходить в кино с ней? – Отец сделал широкий взмах костлявой рукой, и одеяло упало. Он вздрогнул, как если бы холод был ножом, вонзившимся ему в спину.

– Джоани не сможет пойти.

Я часто лгала так. Отец даже не трудился отличать ложь от правды. Я повернула ручку и открыла входную дверь, глядя вверх, на сосульки. Я подумала, что если я отломлю одну из них и брошу в отца, целясь в голову, может быть, она воткнется ему между глаз и убьет его.

– Верно, – сказал он, – потому что у твоей сестры своя жизнь. Она сумела хоть кем-то стать. А не осталась нахлебницей, как ты, Эйлин. – Отец неловко согнулся, чтобы поднять одеяло. Я смотрела на него через прихожую, сквозь проем кухонной двери, а он пытался дрожащими руками завязать пояс халата, потом снова закутался в одеяло и откинулся на спинку своего кресла с непечатой бутылкой джина в руках. – Найди свою жизнь, Эйлин, – добавил он. – Найди ключ.

Отец знал, как уязвить меня. Тем не менее я понимала, что он пьян, что какие бы жестокие слова он ни бросил мне в лицо, это было просто бессмысленное бормотание человека, лишившегося разума. Он был убежден, что ему нужна «защита свидетелей», поскольку он делал важную работу по «разоблачению бандитов». Похоже, отец считал себя кем-то вроде пленного партизана, святого, вынужденного сражаться со злом из стен своего холодного жилища. Он жаловался, что странные выходы призрачной «шпаны» мучают его даже во сне. Я пыталась образумить его. «Это только у тебя в мозгу, – говорила я ему. – Там никого нет, никто тебя не тронет». Он хмыкал и гладил меня по голове, словно несмышленную девочку. Полагаю, мы оба были немного сумасшедшими. Конечно же, в Иксвилле не было никаких бандитов. В любом случае во время своей службы в полиции отец вряд ли совершал деяние более крупное, чем штраф водителю, ехавшему с неработающими поворотниками. Он просто был не в своем уме.

Вскоре после выхода отца в отставку начальник полиции забрал у него водительские права. Отца задержали, когда он как-то вечером ехал по встречной полосе автострады, а на следующий день припарковал машину на общественном кладбище. Поэтому ему пришлось отказаться от поездок. Однако и передвигаясь пешком, отец представлял проблему немногим меньшую. Он бродил в потемках по кварталу, стучался в соседние двери, требуя открыть, чтобы он мог провести обыск – предлоги для этого отец выдумывал сам. Он целился из пистолета в любую тень и часто укладывался спать в сточную канаву или прямо посреди улицы. Копы тишком притаскивали его домой, похлопывали по спине, и кто-нибудь из них обязательно бранил меня за то, что я позволяю отцу так распускаться – конечно, чаще всего это говорилось с извиняющимся вздохом, но все же наполняло мою душу злостью. Однажды моего отца не было шесть дней – в таком грандиозном запое я его никогда не видела, – а потом мне позвонили из больницы, расположенной за два округа от нас, и сказали приехать и забрать его. Это побудило меня собрать всю его обувь и держать в запертом багажнике машины. После этого ему приходилось практически всегда оставаться дома – по крайней мере, зимой. Я носила ключ от машин на шее, словно кулон. Я помню его тяжесть и то, как он покачивался между моих жалких грудей, поворачиваясь, прилипая к моей потной и твердой груди и царапая кожу, когда я выходила из дома в тот день.

Прежде чем продолжить описывать события той субботы, я должна еще раз упомянуть о пистолете – вернее, револьвере. В те времена, когда я была ребенком, отец часто сидел после ужина за кухонным столом и чистил оружие, объясняя, как оно действует и почему важно содержать его в порядке. «Если ты не сделаешь то-то и то-то, – я не помню точных терминов, – револьвер может случайно выстрелить и кого-нибудь убить». Похоже, он говорил мне это не для того, чтобы пригласить присоединиться к этому сокровенному процессу, к его жизни и работе, а чтобы похвастаться, дать понять, что он занят важным, даже священным делом, и если я когда-нибудь вздумаю его отвлекать или, упаси господи, трогать его оружие, я умру. Я говорю вам это просто для того, чтобы ввести револьвер в повествование. Он присутствовал там с моих детских лет и до самого конца. Он пугал меня так же, как испугал бы нож мясника, но и только.

Двор был наполнен выхлопными газами и поземкой, солнечный свет уже помалу угасал. Я села в «Додж» и поехала к дому Рэнди, покусывая свою потрескавшуюся губу в предвкушении того, как мельком увижу его в окне спальни – у него не было занавесок, – или, еще лучше, встречу его по пути и смогу втайне следовать за ним по улицам Иксвилла, слушая божественный рев его мотоцикла. Тогда я смогу узнать, что он делает, когда отсутствует дома. Если в его жизни есть женщина, я увижу это своими глазами. Я полагала, что смогу найти способ обойти ее. У меня было довольно мало шансов привлечь внимание Рэнди, а тем более завоевать его любовь, – в конце концов, я была ленива и застенчива, – но моя одержимость им уже вошла в привычку, и я уже не могла думать об этом здраво. Кто знает, что бы я сделала, если бы застала его целующимся всасос с девушкой, похожей, допустим, на Брижит Бардо? Не знаю, была ли я способна на настоящие решительные действия в отношении другого человека. Вероятно, я побилась б головой о руль и подняла бы стекла в «Додже», молясь о том, чтобы задохнуться и умереть. Кто знает?

Но когда я доехала, Рэнди не было дома, и его мотоцикл отсутствовал на обычном месте на дорожке. Поэтому я по какой-то причине решила сделать правдой свою ложь, сказанную отцу, и пойти в кино. Просмотр кинофильмов никогда не был моим любимым времяпровождением, но в тот вечер я не хотела оставаться одна. Я не любила фильмы по той же причине, по которой не любила романы: я терпеть не могла, когда мне говорили, какие мысли должны у меня возникать. Это было оскорбительно. И во все эти истории трудно поверить. Более того, красивые актрисы вызывали во мне отвращение и жалость к себе. Я сгорала от зависти и обиды, когда они улыбались и хмурились. Конечно же, я понимала, что актерская работа – это ремесло, и питала большое уважение к тем, кто способен на время отбросить свое «я» и принять новую личность. Конечно, можно сказать, что я делала то же самое. Но в общем и целом женщины на экране всегда заставляли меня ощущать себя особенно уродливой, тусклой и незаметной. Особенно в те времена, когда я понимала, что мне нечего противопоставить – во мне нет ни настоящей красоты, ни подлинного очарования. Я была ничем, половиком под дверью, побеленной стеной; у меня было лишь отчаянное желание сделать что угодно – скажем так, кроме убийства, – лишь бы найти кого-то, кто будет питать ко мне хотя бы дружеские чувства, не говоря уже о любви. Пока несколько дней спустя не появилась Ребекка, я могла лишь молиться о каком-нибудь крошечном чуде – чтобы я стала нужной и желанной для Рэнди. Допустим, спасла бы ему жизнь при пожаре или во время аварии на дороге, или вошла бы в комнату в тот момент, когда он узнал о смерти своей матери, и предложила бы ему носовой платок и плечо, на котором можно поплакать... Таковы были мои романтические фантазии.

В Иксвилле был маленький кинотеатр, где крутили только самые пристойные, почти детские фильмы. Если б я захотела посмотреть «Презрение» или «Голдфингер», мне пришлось бы ехать за десять или более миль туда, где не распространялось влияние «Женского комитета Иксвилла». Не могу сказать, испытывала ли я облегчение или разочарование от того, что мои планы торчат под окнами у Рэнди до самого заката пошли прахом. Однако я помню, что по дороге к кинотеатру я испытывала ощущение некоего неотвратимого рока, нависшего над мной. Если б Рэнди связался с другой женщиной, я убила бы себя. Мне больше незачем было бы жить. Когда я припарковала машину возле кинотеатра и подняла окна, меня снова пронзило осознание того, как легко было бы умереть. Одна перерезанная вена, одно превышение скорости поздно ночью на обледеневшей автостраде, один прыжок с Иксвиллского моста... Если б захотела, я могла бы просто утопиться в Атлантическом океане. Люди все время умирают. Почему бы и мне не умереть?

Я вообразила, как отец ворвется ко мне как раз в тот момент, когда я буду резать вены, и хмыкнет: «Ты попадешь в ад». Я боялась этого. Я не верила в рай, но верила в ад. И на самом деле не хотела умирать. Я не всегда хотела жить, но я не собиралась кончать с собой.

И в любом случае были другие варианты. Я могла сбежать, если б набралась храбрости, – так я говорила себе. Мечта о Нью-Йорке манила, словно мерцающие огни на вывеске кинотеатра, обещая темноту и возможность забыться, пусть на время и не бесплатно, но все было лучше, чем сидеть дома одной.

Я купила билет на фильм «Не присылай мне цветы» и направилась по ковровой дорожке с узором из красных и черных ромбов, ведущей к обитой искусственной кожей двери. Прыщавый парень-подросток, подсвечивая фонариком, проводил меня в зал. Кино уже началось. В тепле и темноте, наполненной запахом сигаретного дыма и горелого масла, я едва удерживалась, чтобы не задремать, несмотря на взвизги Дорис Дэй. Но когда я открывала глаза, то, что я видела, было смертельно скучным. Я едва помню фильм. Большую часть его я проспала, но там было что-то о домохозяйке, чей муж одержим ипохондрией, а может быть, просто общим невыносимым страхом смерти. В тот момент Дорис была уже немолода – помятая и потрепанная бумажная куколка с детской прической и в одежде, больше подошедшей бы горничной. Рок Хадсон, похоже, совершенно не обращал внимания на ее шарм. Оказывается, даже Дорис Дэй не всегда может вызвать у мужчин любовное чувство.

Когда пошли титры, я вышла из кинотеатра вместе с толпой прочих горожан, молодых и старых, одетых в яркие шерстяные пальто, шапки и кашне. Холодный вечерний воздух взбудрил меня. Я не хотела возвращаться домой. Мой взгляд привлекли мерцающие рождественские гирлянды в витрине кондитерской напротив. Я зашла, купила пончик с заварным кремом, одним махом съела его, как делала обычно, и вышла, уже пожалев о том, что сделала. Я не хотела стать такой, как женщина за прилавком, – толстой, расплывшейся, с телом, напоминающим мешок яблок. В витрине магазина одежды, расположенного рядом с кондитерской, я отчетливо увидела свое отражение. Я выглядела нелепо в своем широком сером пальто, одинокая, застывшая в лучах фар проезжающей мимо машины, словно глупый испуганный олень. Я попыталась поправить волосы, спутавшиеся после сна. Потом подняла взгляд. Над дверью красовалась вывеска с названием магазина, словно бы начертанная аккуратным девичьим почерком: «Дарла». Закатив глаза, я вошла внутрь.

– Здравсьте, – произнес чей-то голос, когда колокольчик над дверью звякнул, и из задней комнаты вышла продавщица. – Мы скоро закрываемся, но можете пока осмотреться и выбрать. Все, что угодно, только скажите.

Моя «посмертная маска», похоже, ничуть ее не встревожила. Меня всегда раздражало, когда на мою бесстрастность отвечали добродушием и хорошими манерами. Разве она не знает, что я чудовище, ведьма, пакость? Как смеет она по-доброму шутить со мной, когда я заслуживаю того, чтобы меня встретили с отвращением и страхом? Мои грубые туфли оставляли грязные следы на застеленном ковром полу, когда я обходила стойки с одеждой и щупала платья из тонкой шерсти и шелкового крепа. Нелепо было даже думать, что я могу носить такие тонкие одеяния, не говоря уже о том, чтобы позволить их себе. Я помню яркие тона и броские узоры, атлас и шерсть, все милое, отличного покроя, с большими бантами, широкими складками и прочей ерундой. Я, конечно же, была скупой, и тогда вглядывалась в каждый ценник и высчитывала стоимость того, чего так жаждала и в то же время презирала. Это было нечестно. Другие могут носить красивые вещи, почему же я – нет?! Если я надену что-нибудь подобное, кое-кто может обратить на меня то внимание, которое я заслуживаю. Даже Рэнди. Мода – приманка для глупцов, теперь я это знаю, но я научилась тому, что время от времени неплохо побыть глупой. Это помогает сохранить душу молодой. Полагаю, тогда я подозревала нечто подобное, потому что, несмотря на все свое презрение к «тряпкам» – а может быть, благодаря ему, – попросила на примерку вечернее платье, выставленное в витрине.

Это было цельнокроеное платье золотого цвета с высоким воротом, по которому вниз к груди тянулся узор из чередующихся золотистых и серебристых декоративных элементов. Оно напомнило мне о фотографиях женщин-африканок, чьи шеи были болезненно вытянуты

нанизанными на них золотыми кольцами. Продавщица изумленно посмотрела на меня, когда я указала на это платье, потом улыбнулась и пошла к витрине. Потребовалось несколько минут, чтобы расстегнуть платье, а потом положить манекен набок и стянуть с него длинное одеяние. Я как бы случайно отошла к дальней стене, чтобы взглянуть на чулочно-носочные изделия. Пока девушка сражалась с манекеном, я незаметно сунула в сумочку четыре упаковки темно-синих колготок. Потом посмотрела в зеркало на витрине с бижутерией, запертой с другой стороны, сняла перчатки и стерла следы шоколада в уголках губ. Потом вытерла руки о шарф, свисающий в качестве украшения с бамбукового шеста. Продавщица несла платье в примерочную так, как если бы это было спящее дитя: на вытянутых руках, стараясь не задеть нашитые на него украшения. Я последовала за ней, сняла пальто и укрыла сумочку в его складках. Мне было все равно, что подумает продавщица о моей жалкой одежде. Она сама носила скромную, но нелепую юбку-полусолнце, украшенную, насколько я помню, помпонами, а может быть, и вышитыми котятками.

– Я буду в зале, если вам что-то понадобится, – сказала девушка, закрывая дверь примерочной.

Я сняла свитер, блузку и лифчик и внимательно взглянула на свой бюст, оценивая величину и форму моих маленьких грудей. Потом отважно расправила плечи перед зеркалом, просто чтобы утратить себя саму. Во время месячных мои груди становились болезненными и тяжелыми, словно свинец или камень. Я ущипнула их, потыкала в них пальцами. Потом сняла колготки и трусики, но не стала смотреть на себя ниже пояса. Мои ступни, лодыжки, икры были вполне нормальными, даже не очень уродливыми. Но что-то отталкивающее и противное имелось в моих бедрах, ягодицах, тазе. У меня всегда было ощущение, что если я буду рассматривать эти части своего тела слишком пристально, они утянут меня в другой мир. Я просто не могла исследовать эту территорию. И в то время я не считала это тело действительно моим, чтобы исследовать его. Я полагала, что для этого существуют мужчины.

Платье было тяжелым, словно шкура странного животного. По верху оно было слишком большим, неуклюже топорщась между моих рук и грудей, украшения позванивали друг о друга, словно некий туземный инструмент, когда я застегивала «молнию» на спине. И в целом оно было слишком длинным. В зеркале я выглядела крошечной, непривлекательной, мои волосатые лодыжки высывались из-под подола, словно задние ноги коровы или козы. Платье явно не шло мне, и все же я его хотела. Конечно же, хотела. Судя по ценнику, оно стоило больше, чем я получала за две недели работы в тюрьме. Я подумывала о том, чтобы сорвать ценник, как если бы это помогло мне получить платье бесплатно. Я прикинула, не оторвать ли мне одно из металлических украшений и не сунуть ли в сумочку к колготкам. Но вместо этого я острым кончиком ключа от машины проколола дырочку во внутренней подкладке возле подола и слегка надорвала. Потом влезла в свою старую одежду – которая сейчас ощущалась еще более старой и воняла потом, а блузка под свитером была холодной и влажной в подмышках – и вышла обратно в торговый зал.

– Ну, как дела? – помнится, спросила продавщица, как будто я могла справиться с примеркой хорошо или плохо. Почему я всегда вызывала у людей подобные вопросы? Конечно же, это платье смотрелось на мне ужасно. Продавщица, должно быть, предвидела это. Но почему в этом должна быть виновата я, а не платье? «Ну, как дела у платья?» – следовало бы спросить ей.

– Не в моем стиле, – ответила я и быстрым шагом вышла, придерживая под мышкой пухлую сумочку. От резкого холода я вздрогнула, но все же победно улыбнулась. Похищая вещи из магазинов, я чувствовала себя неуязвимой, как будто карала весь мир и вознаграждала себя, на какое-то мгновение восстанавливая правильный порядок вещей – верша правосудие.

В тот вечер я еще немного покаталась на машине, снова проехала мимо дома Рэнди и разочарованно прищелкнула языком, увидев, что все окна в его квартире темные. Потом поехала на обзорную площадку, с которой молодые парочки любили смотреть на океан. По

пути я натянула на голову найденную вчера вязаную шапку. Я ехала без особой цели. Для того чтобы добраться до обзорной площадки, нужна машина, так что, полагаю, не было риска наткнуться на Рэнди, катающего на мотоцикле какую-нибудь девушку. И все же, тащась вверх по крутой заснеженной дороге, я пыталась рассмотреть сквозь запотевшее заднее стекло все машины, попадавшие по пути, чтобы убедиться, что ни в одной из них его нет. Я и прежде много раз бывала там, просто чтобы посмотреть. В тот вечер я припарковалась и устремила взгляд в темноту над океаном. Потом на несколько минут подняла окна в машине и посидела, теша себя мыслями о Рэнди. В двадцать четыре года я еще ни разу не была на настоящем свидании. Позднее, после того как я покинула Иксвилл и у меня появился кое-какой романтический опыт, мне доводилось сидеть в машине с тем или иным мужчиной. «Отсюда прекрасный вид», – обычно говорили они, и мне была уже знакома сладкая дрожь, когда в момент экстаза ты открываешь глаза и видишь сияющую луну и звезды, развешенные по небу, точно праздничные гирлянды, как будто их разместили там специально ради твоего удовольствия. Я также извела сладкий стыд, когда дорожный патруль застает тебя в захватывающее дух мгновение любви и страсти, господи боже мой! Но в тот вечер я просто сидела одна, смотрела вверх и гадала, куда заведет меня дорога моей жизни, если я сейчас не решусь включить мотор и скатиться за край обрыва, зияющего передо мной. Эта дорога неизбежно вела обратно мимо дома Рэнди – по-прежнему темного, и это сводило меня с ума, – а затем домой. Плакала ли я от обиды и жалости к себе? Нет. К тому времени я привыкла к одиночеству. Я знала, что когда-нибудь сбегу. А до тех пор буду томиться и чахнуть.

Дома я выпила воды из-под крана и проглотила горсть слабительного, которое хранила под кухонной раковиной. Потом села на стул и стала пить пиво из банки. Отец поднял руку и мрачно отсалютовал, подшучивая над моей угрюмостью.

– Копы принесли виски, – сообщил он, указывая на бутылку «Гленфиддика»⁶ с бантиком, повязанным вокруг горлышка; она стояла у двери в погреб. – Ну, и как тебе фильм?

Он сидел спокойно; настроение у него, похоже, улучшилось, а обидчивая злость, которую он проявлял несколько часов назад, прошла. Судя по всему, он не прочь был поговорить.

– Фильм был тупой, – честно ответила я. – Можно открыть? – Я подошла и взяла в руки бутылку.

– Необходимо, конечно же, – отозвался отец.

Я не всегда ненавидела его. Как и во всех злодеях, в нем было кое-что хорошее. Обычно он ничего не имел против беспорядка в доме. Так же, как и я, он ненавидел соседей, и предпочел бы получить пулю в голову, но не признать себя побежденным. Время от времени он веселил меня: например, когда пытался в пьяном виде читать газеты, серьезно взирая на каждый заголовок, который ему удавалось расшифровать, – один глаз зажмурен, трясущийся палец скользит по словам. Он по-прежнему произносил напыщенные речи относительно красных. Он любил Голдуотера и презирал Кеннеди⁷, хотя заставил меня поклясться, что я сохраняю это в тайне. Он строго настаивал на выполнении определенных обязанностей. Например, маниакально следил за тем, чтобы все счета были оплачены вовремя. Единожды в месяц он специально ради этого сохранял трезвость, и я должна была сидеть рядом с ним, открывать конверты, наклеивать марки и передавать чеки ему на подпись. «Это ужасно, Эйлин, – говорил он. – Начинай заново. Ни один банк не примет чек, заполненный таким почерком, словно у маленькой девочки». Даже в дни, когда отец не пил, он с трудом мог удержать ручку.

В тот вечер я налила нам обоим виски на несколько пальцев и придвинула свой стул поближе к его креслу, протянув замерзшие руки к зажженной духовке.

⁶ «Гленфиддик» – известный бренд шотландского односолодового виски.

⁷ Барри Моррис Голдуотер (1909–1998) – американский политик, кандидат Республиканской партии в президенты страны на выборах 1964 года; ярый антикоммунист; Джон Фицджеральд Кеннеди (1917–1963) – американский политический деятель, лидер Демократической партии, 35-й президент США (1961–1963).

– Дорис Дэй – жирная кляча, – сказала я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.